С. ПОДЪЯЧЕВ

ЖИЗНЬ МУЖИЦКАЯ



ИЗД-ВО З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГ-БЕРЛИН


ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ

ЖИЗНЬ МУЖИЦКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН — ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА
1923.

СЕМЕН ПОД'ЯЧЕВ.

Семен Павлович Под'ячев — крестьянин Московской губернии, Дмитровского уезда. Ему теперь около пятидесяти лет, он живет в деревне обычной мужицкой жизнью, которая так просто и страшно описана им в этом рассказе. У него — нищенский надел земли, которую он сам обрабатывал, плохонькая избенка, безграмотная жена, — все, как следует у настоящего мужика.

Печатать рассказы он начал в 1902—3 гг.; его первый рассказ «В работном доме» был помещен в журнале В. Г. Короленко «Русское Богатство»; этот правдивый рассказ вызвал не мало похвал автору, хвалили его за уменье просто и бесстрашно писать жестокую правду. Рассказ имел даже практические последствия — запрос в городской думе Москвы о порядках в «Работном доме» и ревизию этого учреждения. С той поры Под'ячев написал и издал шесть или семь книг своих рассказов, продолжая жить так мучительно, как это изображено им в предлагаемом читателю очерке. В нескольких десятках верст от его деревни — Москва, музеи, дворцы, шумная жизнь центра культуры русской, а он — один среди людей полудиких, жадных, озлобленных бесплодным, каторжным трудом. Безграмотной жене, замученной работой, частыми родами, вознею с детьми — чужд и непонятен муж, который по ночам, согнувшись в три погибели над столом, все что-то пишет, при тусклом свете керосиновой, двадцатикопеечной лампы. Мужикам, однодеревенцам, тоже непонятен и подозрителен этот человек, который и говорит, и думает не так, как привыкли они, не о том, что у них тупо болит. Впрочем, нет надобности рассказывать о жизни С. Под'ячева, он сам достаточно красноречиво говорит о ней.

Но вот какие мысли возбуждают его рассказы: лет пятьдесят, почти все русские писатели умиленно и чувстви-

тельно изображали русского мужика человеком добросердечным, умным, человеком, который напряженно и всегда думает о правде, ищет ее всюду и везде, носит в своей душе неукротимое стремление к лучшей жизни. Жизнь деревни писатели рисовали мягкими, светлыми красками, искренно и громко восхищаясь простотою деревенского быта, указывали, что в этой простоте таится великая мудрость, что из деревни снизойдет на город ясный свет истины, говорили даже о «святости» деревенской жизни, указывая, что там надо учиться жить грешным, беспокойным людям, которые создали шумную, сложную, суетливую, распутную жизнь города и — погибают, мучаются в ней, как в грязном аду.

Особенно восхвалял мудрость деревенской жизни и детски-ясную простоту мужицкой души великий Л. Н. Толстой; подражая его убедительному голосу, так же говорили еще многие, например, Эртель и другие, менее значительные писатели смешанного толстовско-народнического направления, — они убеждали читателя в правильности своих взглядов на деревню не качеством сладчайших рассказов о ней, а количеством их; для этой группы писателей деревня была идолом, которому они искренно и непрерывно служили торжественную литургию умиления, восхищения и сострадания.

В этом хоре славословий тонула даже громкая предостерегающая речь великолепного наблюдателя деревенской жизни и великого умника Глеба Успенского, но все-таки, благодаря его влиянию, а также силе идей социал-демократии, отношение к мужику и деревне постепенно изменяется, переходя в начале 90-х годов в более критическое и вдумчивое отношение к идеям «народников». Это отношение было встречено публикой и журналистикой не очень приветливо, ибо трудно поколебать устойчивость привычных взглядов и настроений идолопоклоннических.

В художественной литературе первый красиво сказал о великорусском мужике новое и веское слово В. Г. Короленко в рассказе «Река играет», затем А. П. Чехов написал один за

другим три замечательные рассказа: «Мужики», «Дача», и «В овраге» — его рассказы были приняты народнически-верующей публикой враждебно и как хула на мужика. Но вслед за Чеховым еще более определенно-отрицательно начал писать о деревне И. А. Бунин; его отношение к ней и мужику особенно сурово в рассказах «Ночной разговор», «Сто восемь», «Захар Воробьев» и в большой повести «Деревня». Бунина критиковали резко и грубо, указывая, главным образом, на то, что он — помещик, наблюдает жизнь мужика из окна своего барского дома и злостно оболгал русский народ. Что Бунин пом ик и землевладелец, это — не верно, а что он обладает прекрасным талантом и не боится говорить правду так, как понимает ее, это — вне спора.

Но всего красноречивее и убедительнее в пользу правдивости и верности наблюдений Бунина и Чехова над жизнью деревни говорит сама деревня устами писателей-мужиков, подмосковного мужика Семена Под'ячева и орловского — Ивана Егоровича Вольного, в книге которого «Юность» деревня окрашена еще более мрачными красками, чем краски Бунина и Чехова.

Вольному и Под'ячеву надо верить; они сами деревенские люди, оба живут ее жизнью и не могут не знать, не чувствовать ее.

Но возникает вопрос: почему же писатели-мужики так резко разошлись с Толстым и народниками в оценке деревни?

Возможен такой ответ: Под'ячев и Вольный — «новые люди», и они, очевидно, поняли, что везде и всегда история воспитывала человека деревни и города, как два типа, психологически совершенно различных, причем это различие становится все глубже, ибо город стремится вперед с быстротою Ахиллеса, деревня же — не быстрей черепахи.

Деревенский житель — существо, которое каторжной работой с первых дней весны до поздней осени добывает хлеб, чтобы большую часть его продать, меньшую — с'есть во дни проклятой, безжалостной, холодной зимы.

Спора нет — прекрасно летом «живое золото пышных нив», но осенью, на месте золота, снова ободранная, голая земля, снова она требует каторжного труда, снова бесплодно высасывает энергию человека.

Этот человек весь — внутренне и внешне — порабощен силами природы, он не борется с ними, а только приспособляется к ним. Быстро исчезающие плоды его труда не внушают — не могут внушить — ему уважения к самому себе, к своим творческим способностям. Из всего, что он делает, на земле остается только солома и темная, тесная, крытая соломой изба.

Труд крестьянина чрезмерно тяжел, и эта тяжесть в связи с ничтожеством результатов труда, особенно, и вполне естественно, углубляет в душе крестьянина темный инстинкт собственности, делая его непоколебимым. Этот инстинкт почти не поддается влиянию учений, которые считают грехопадением первобытного человека именно собственность, а не шутку Дьявола и Евы над глуповатым Адамом.

Когда говорят о «буржуазной» культуре, мы думаем именно о культуре деревни, — если только можно соединить эти два понятия — культура и деревня — почти не соединимые в своей духовной сущности. Культура это — процесс созидания идей, воплощения их в формы книг, машин, научных инструментов, картин, зданий — в формы различных предметов, которые, являясь воплощением одних идей, служат возбудителем и других и, увеличиваясь количественно, расходятся все шире, охватывая весь мир, возбуждая все новые мнения, которые пытаются охватить и вскрыть тайные причины всех явлений жизни.

Такой культуры деревня не создает и вообще она не создает памятников себе иначе, как в форме слова, в форме сказки, песни, поговорки. Да, очень трогательна заунывная песня деревни, ее скорбная лирика способна, казалось бы, смягчить камни, но — камни не смягчаются песнями, люди — тоже. Несомненно, — в деревне много грустной поэзии, она и увлекает нас по пути к ошибкам чувствительности, но —

неизмеримо значительнее и по существу и по об'ему — проза деревни, ее все еще животно-эпическая проза. Деревенские идиллии слишком мало заметны в сплошной драме будничной жизни крестьянина.

По сравнению с пассивной, полумертвой психикой деревни, городская буржуазия является ценнейшим творческим началом, тою крепкой кислотой, которая вполне способна растворить мягкую на показ, железную на деле душу мужика. Косность деревни может быть побеждена только наукой и крупной промышленностью. Нужно создать чудовищное количество сельско-хозяйственных машин, только они убедят мужика, что собственность — цепь, которой он скован, как зверь, что она духовно невыгодна ему, что неразумный труд — непродуктивен и что только дисциплинированный наукой, облагороженный искусством разум может явиться честным вожаком по пути к свободе и счастью. Труд горожанина сказочно разнообразен, монументален, вечен. Из кусков земли, превращенных в кирпич, горожанин строит дворцы и храмы, из бесформенных глыб железной руды он создает машины изумительной сложности. Он уже подчинил своим высоким целям энергию природы, и она служит ему, как джины — духи восточных сказок — мудрецу, поработившему их силою своего разума. Городской житель создал вокруг себя атмосферу разумности, он всегда видит свою волю воплощенной в разнообразии дивных вещей, в тысячах книг, картин, где словом и кистью запечатлены навек величавые муки его пытливого духа, его мечты и надежды, любовь и ненависть — его огромная душа, в которой неугасимо горит жажда новых идей, деяний, форм.

И даже будучи порабощен политикой государства, горожанин все-таки внутренно свободен, — именно силою этой духовной свободы он разрушает и вновь создает формы социальной жизни.

Человек деяния — он создал для себя жизнь мучительно напряженную, порочную, но — прекрасную! Он — возбудитель всех социальных болезней, извращений, творец

жестокости, лжи, лицемерия, но — это им создан тот микроскоп, который позволяет ему видеть с такой мучительной ясностью малейшее движение своего вечно неудовлетворенного духа. Он воспитал в своей среде волшебников науки, искусства, техники, — волшебников и мудрецов, которые неустанно укрепляют и развивают эти основы культуры.

Великий грешник перед ближним и, — может быть, еще больший пред самим собою, он — великомученик своих стремлений, которые, убивая его, родят все новые радости и муки бытия.

Дух его — проклятый Агасфер, он все идет, идет в безграничие будущего, куда-то к сердцу Космоса или в пустоту вселенной, которую он, быть может, призван заполнить эманацией своей энергии, создав нечто недоступное представлению разума сего дня.

Для интеллекта развитие культуры важно само по себе, вне зависимости от результатов, интеллект сам по себе, прежде всего, — феномен культуры, сложнейшее, таинственное явление природы, орган ее самопознания.

Инстинкту важны только утилитарные результаты культуры — только то, что увеличивает внешнее благополучие бытия, хотя бы это была унизительная ложь.

Редакция.

ЖИЗНЬ МУЖИЦКАЯ.

. . . Позвали сегодня на сходку . . . Думал, какое-нибудь серьезное дело, а оказалось, собрались по пустякам: дяде Налиму, старому, наполовину выжившему из ума, богатею, пользующемуся почему-то большим авторитетом, «взбрело в башку» сделать миру предложение не работать по праздникам в продолжение всей рабочей поры.

— Я и на сходку-то за этим пришел, православные, — сказал он, — давно не бывал, устарел . . . ноне вона каки хахали пошли: умные все, обученные . . . где нам, дуракам!

И при этом смотрел в мою сторону.

«Старики» согласились с его предложением и составили приговор, что, если кто ослушается и будет в праздник работать, — с того — в этом-то вся и штука! — «два двадцать», т. е. на четверть водки.

Мне стало досадно, и я заявил, что не согласен.

Поднялся крик . . . заспорили . . . Дядя Налим, весь трясясь, брызгая слюной, каким-то не своим, а бабьим визгливым голосом начал ругать меня забастовщиком и богоотступником.

Я плюнул, махнул рукой и ушел домой...

Вчера, в Петров день, поутру пришел ко мне в гости товарищ, с фабрики верст за пятнадцать... Я не видал его давным-давно и очень был рад.

Дома у меня теснота: избенка старая, восьмиаршинная, необычайно мрачная, внутри вся завалена разной рухлядью . . . Грязь, туча мух, тараканы, клопы, вонь от детских тряпок. Жена у меня — баба грязная, злая, худая, как палка, с огромными глазами, то и дело кричит на детей.

Кроме того, на моей шее старая мать, слепая, помешанная — покойный отец мой, в пьяном виде, избил ее поленом, после чего она помешалась. То про себя, то громко на всю избу бормочет она на печке все одну и ту же молитву:

— «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».

Принять гостя в такой обстановке было совестно: он заявился ко мне таким франтом, что я просто рот разинул от удивления. Поэтому я взял потихоньку от жены из кошелька, лежавшего «у богов», полтину и повел его в шинок, к «Мюр-Мерилизу» . . .

Этот «Мюр-Мерилиз» у нас в деревне своего рода «бытовое явление» . . . Летом он ездит с таратайкой, зимой с салазками по ярмаркам, а по престольным праздникам возит «товар». Сверху у него селедки, пряники, лимоны, конфетки «ириски», а снизу — водка, так что у него можно и выпить, и закусить...

Он вдовый и одинокий, но в избе у него просторно и чисто... Гостей принимает ласково и приветливо. Можно заказать самовар, сварить яиц и сидеть, сколько угодно...

Мы пришли и сели к столу... «Мюр-Мерилиз» подал, что надо, и отошел в сторону, за переборку...

Всю мне душу перевернули разговоры с товарищем. Я слушал его, и мне было горько и обидно за себя... Как он далеко ушел от меня! Как я отстал во всем, озверел, одичал, опустился!

Живет он на фабрике табельщиком и получает сорок рублей в месяц. Детей нет, жена тоже на месте и тоже зарабатывает.

Вспомнили старину — то время, когда мы жили в Москве на чугунно-литейном заводе... 1905 год...

— Ну, как же ты живешь, товарищ? — спросил он, —

крестьянствуешь, а?... На землю сел... Да и постарел же ты сильно. Точно не ты это...

— Да не я и есть, — ответил я. — Плохо живу... бедно, серо, дети, жена, мать убогая, отец помер. Пока жив был, — он здесь работал, дома, а я-то на стороне... теперь мне волей-неволей пришлось хозяйствовать, трудно!... Плохо я знал хозяйство: с детства в Москве... Да и жену свою плохо знал: женили мальчишкой, работница в дом понадобилась... Приедешь, бывало, домой на праздник, не поговоришь путем, да и не о чем, собственно говоря, беседовать; глядь, через девять месяцев радость: Акульку Бог дал...

Он засмеялся, а я угрюмо замолчал.

В это время вдруг стекла в одном из окон со звоном полетели в избу, и вслед за тем я услыхал хорошо знакомый мне голос жены:

— Разбойник! Кабатчик, кровопийца! — кричала она на всю улицу, — кабак здесь открыл... народ спаивать... ах ты, сволота эдакая! Все я твои рамы вышибу. Спалю, и суда мне не будет!...

— Что это? — тревожно спросил товарищ.

Я покраснел.

— А это, видишь вот, моя подруга жизни.

Жена набросилась на меня... Выступил на сцену взятый потихоньку полтинник.

— Жулик! Мошенник! Пьяница! — понеслось по улице. — И приятель твой такая же, должно быть, сволочь... Подох бы ты, чорт... Му-у-читель! Взаправду вон люди-то говорят про тебя: забастовщик проклятый! В Москве жить нельзя, мошеннику, — стало быть, хорош! Этапом пригнали.

Дальше я уже плохо помню, что было. Помню только, что я как-то очутился у себя в избе и, весь трясясь от бешенства, держал над жениной головой топор и кричал: — «Убью! Молчи, убью!» Она, в свою очередь обезумев, лезла на меня и вопила, тараща побелевшие и вышедшие из орбит, глаза:

— Бей, мучитель! Бей! бей! На — бей!...

Дети... впрочем что уж!.. Тяжело!.. И стыдно... стыдно. Товарищ уехал, не повидавшись со мною больше...

Начался покос... Я проснулся задолго до восхода солнца. Сплю я не в избе, где душно и множество насекомых, а в чулане, сколоченном из досок.

Чулан этот одной стороной выходит в сени, а остальными во двор, благодаря чему сильный запах навоза постоянно царит в этом моем «кабинете»... Мне слышно, как жует и вздыхает корова... Петух горланит над самой головой и будит меня. Поднявшись, я сую ноги в опорки, надеваю картуз и выхожу на двор, где на переводе висит с вечера отбитая коса и лежит в уголке брусочек.

Взяв то и другое, выхожу через калитку в огород и оттуда торопливо иду версты за полторы, на место покоса.

Покос у меня купленный, «снятой», как говорят у нас, за пять рублей в соседнем селе у попа. Свой же, которого немного, я обыкновенно начинаю косить, когда управлюсь с купленным...

До восхода солнца еще не скоро... Только что начинает розоветь восток... Свежо... туман стелется по низким местам, как дым, во ржи кричат дергачи, где-то далеко крякают утки... Каждый звук отчетливо и ясно слышен в чутком воздухе...

Трава и цветы стоят наклонившись, мокрые от росы.

Я иду, мало обращая внимания на красоту природы... мне не до того . . . Я думаю, как бы только успеть побольше накосить травы, высушить и отвезти лишний воз в город на рынок... Денег нет. Мука на исходе... чай, сахар тоже...

Придя на место, я торопливо точу косу и начинаю «тяпать»... Жик, жик! Жик, жик! — раздается под косой, и мягкая мокрая трава ложится валами...

Кошу я по кустам, которые то и дело надо обкашивать вокруг, что очень задерживает и затрудняет работу. Пока мокро и не взошло еще солнце, я по возможности выбираю,

где поразгонистей, по полянкам, чтобы подвалить побольше. Но вот огромным огненным шаром выплыло солнце, и все заблестело и ожило... Сверкает роса, чирикают птички, трещат кузнечики... Какой-то особенный бодрящий запах наполняет воздух. Я усердно кошу. Солнце поднимается все выше и выше. Верст за пять в монастыре ударили к заутрене. Я начинаю чувствовать голод.

«Хорошо бы теперь попить чайку», — думаю я, делая свальник.

Время идет, солнце начинает нагревать спину. Трава обсохла, только кое-где в тени, за кустами, лежит трава... Косу приходится точить чаще... чувствуется усталость и ужасно хочется есть.

«Скоро-ли принесут? — с тоской и злостью голодного человека думаю я, — какого они там чорта!»

Но вот, наконец, слава Богу, я слышу тоненький голосок своего сынишки шагах в двадцати от меня.

— Тя-я-я-тька... а тятьк... где ты?

— Здесь... гоп! — радостно кричу я, — сюда иди... гоп!..

— Гоп! — откликается сынишка и выходит из кустов, держа в руках узелок.

— Бог помочь, тятьк! — говорит он. — Много ль накосил?

— Спасибо, — отвечаю я, — принес?...

— Принес... на, на, ешь... чай, поесть хотца?...

— Да, есть таки малость, — отвечаю я, вешая косу на сучок. — Ну, давай, чего ты тут мне?

Беру узелок, развязываю концы... Все то же: ломоток черствого хлеба и в чашке кислое, снятое «синь-синем» молоко с творогом... «Лаженое», как говорят у нас.

Сынишка садится возле меня и смотрит, как я ем.

— А вы позавтракали? — спрашиваю у него. — Топила мать печку-то?

— Истопила, — отвечает он, — у ней нонче хлебы... лепешек напекла. Мы ели...

— Что же ты мне, чудак, не принес лепешку-то? — говорю я, — сами ели, а об отце забыли... Нехорошо, брат.

Я огорчен и обижен. Мне кажется, что одна-две лепешки скрасили бы мне весь этот день... Никто обо мне не подумает. Сынишка смотрит на меня вопросительно и смущенно. Глаза у него большие, круглые...

— Я не знаю... мамка ничего не сказала... — говорит он печально.

— Что она делает-то?

— Сено на усадьбе трясет.

Молчим...

— Тятьк! — окликает он меня, немного погодя.

— Ну?...

— Купи мне, поедешь в город, ножик вон такой, как у Мартына у пастуха... косной... во-о-стрый, разво-о-стрый!.. во каку палку так до разу и перемахнет!...

— Ладно. На вот чашку, тащи к матери... Спасибо...

Он уходит. Я беру косу и принимаюсь за дело.

Жарко... я весь мокрый от поту. Больно спине... Злоба острая и мучительная наполняет душу, и вместе с тем тоска и дума о детях, о себе... Все то же, одно, одно и одно!...

К полдням, когда солнце стоит прямо и печет немилосердно, бросаю косить и, усталый, с трясущимися руками, облитый потом, озлобленный и голодный, иду домой обедать...

Вхожу в избу... сердце сжимается еще сильнейшею тоской...

Жара... духота... пахнет хлебами... Пол черный, загаженный. Тучи мух повсюду. Люлька на длинном во всю избу «оцепе» висит посреди избы, и в ней на каких-то издающих острый запах тряпках ворошится и орет золотушный с болячками на голове ребенок. Жена, обтрепанная, босиком, потная, злая, ругается и кричит на детей:

— Чтоб вы передохли, проклятые, дай-то, Господи . . .

На печке, несмотря на страшную жарищу, лежит мать и по обыкновению бормочет, как тетерев на току, все одно и тоже: «да воскреснет Бог и расточатся врази его»...

Сажусь к столу, предварительно оторвав от висящего на стенке, купленного как-то зимой, отрывного календаря листочек и читаю. Сначала «мысли о воспитании», потом «народную мудрость», потом «меню»... Этот «отдел» особенно привлекает мое внимание... Читаю:

«1. Суп-пюре из чечевицы. 2. Каплун с компотом из слив. 3. Вафли и молоко»...

— Ест кто-нибудь и это, — думаю со злостью, глотая слюну, — черти проклятые...

И я чувствую, как острая ненависть против этих неведомых людей, для которых составлено это «меню», — сжимает мне грудь... — А я вот... За что?...

— Ты что за стол-то сел, жрать что-ли, а?... — спрашивает жена...

Я некоторое время почти с ужасом гляжу на нее... Господи, на что только похожа эта «все выносящего русского племени многострадальная мать».

— Что у тебя других-то слов нету, что ли? — говорю ей, — «жрать», «чорт», «сволочь»; только от тебя и слышно. Не можешь ты говорить по-людски...

— А что? — не понимая и глядя на меня, спрашивает она.

— Давай есть, — махнув рукой, говорю я — ладно уж...

— Успеешь... У меня вон с раннего утра маковой росинки во рту не было... Звал бы щенят-то... Залез, расселся, лба не перекрестил... давай ему!... Было бы чего, спроси сперва, жрать-то... много-ль припас-то с умной своей головой?...

— Вон тоже, — продолжает, не умолкая, жена, — на печи дьявол лежит, не подыхает... Корми ее... бормочет с утра до ночи нивесть что, голову инда вскружила... пришибить бы, что-ли... да греха боюсь...

— Давай! — кричу я.

— Сейчас!... Чего орешь-то? Не велик господин... — На, жри, не подавись! — говорит она, ставя на стол чашку, в которой что-то дымится и издает «дух». — Посоли, я даве

забыла посолить-то... — Капуста вот вся доходит, на дне осталась самая малость... Мука тоже вся, — продолжает она с каким-то злорадством, — еще на одни хлебы, а то и нету... Царица небесная, матушка! Что нам делать-то, что нам делать-то?! Как мы жить-то будем... батюшки-светы, батюшки-светы!...

Я отодвигаю чашку и встаю.

— Ешь, — сквозь слезы говорит она, — что же ты?... Хлебай еще... молока дать?...

— Не надо. Сено-то там на усадьбе просохло, небось? — спрашиваю я. — Сейчас его убирать или как?

— Знамо, сейчас... чего ему валяться-то... оно давно поспело... сейчас уберем его... да затем поедем, сгребать... Натяпал волочужку, а?

— Больше.

— Ну да, больше! Ты все так говоришь, а начнем сгребать, нет ничего... положить под себя охапку, и вся работа... Люди-то вон, посмотри, как работают... а ты тяп, тяп! тяп, тяп! Руки бы отшиб, ей-Богу!...

— Да ну тебя к чорту! — наконец, потеряв терпение, кричу я, — чорт!

— Чорт-то сам четверт! — глупо кричит она вдогонку мне.

. . . .

Перетаскав в сарай сухое сено, мы с женой, бросив ребятишек одних, едем сгребать траву, которую я накосил давеча... Ее привезем сюда же на усадьбу и здесь высушим.

Работаем оба молча, подальше друг от друга... Она кладет свою скирду, а я свою... Если мы сойдемся вместе, то непременно начнем «лаяться».

Впрочем, когда собранную траву приходится навивать на телегу, — жена становится на воз, а я подаю.

— Что ты, — кричит она, словно, прости Господи, по яйцам ходишь... по рублю ступень... До коих же пор мы с тобой здесь пробудем? Ишь накосил, глядеть не на что, а

тоже, как и путный, пошел на работу из дому, чем свет... Вон, посмотришь, добрые-то люди...

Привезя домой траву, мы раскладываем ее на маленькие кучки, чтобы она за ночь не сгорелась и не почернела. Жена идет ставить самовар, а я отпрягаю лошадь и делаю кое-что около сарая: подгребаю ошурки, очесываю сторону...

Самовар у нас почему-то ужасно долго не поспевает, а перед тем как «поспеть», имеет особенную привычку: начинает жалобно «выть». Это его вытье в некотором роде крест моей жизни. Как только он заведет свою песню, — жена заводит свою:

— Ну, завыл, притка тебя задави! — говорит она, — вой, вой, собака, на свою голову!.. Уж не иначе, — обращается она ко мне, — уж вспомни ты мое слово, не перед добром это он воет... Уж, знаю я, выживает кого-нибудь... Да кого-ж, правда, окромя меня? Тебе вот радость будет: другую заведешь по своему скусу, умную... а то я для тебя ведь дура, где мне супротив тебя... А зачем брал меня таковскую-то, а? Искал бы умную, коли я тебе опротивела... Я бы, может, без тебя-то в тыщу разов счастливше была... Я тебе не какая-нибудь досталась... измываться надо мной...

Напившись чаю, я иду снова косить. Домой возвращаюсь ночью, усталый, голодный, и, поужинав теми же щами, что и за обедом — к вечеру, впрочем, они делаются еще хуже, — иду к себе в чулан и ложусь спать.

Но уснуть скоро не могу: в голову лезут мысли торопливые, назойливые, пугающие.

И так каждый день.. Сколько еще их впереди?..

Сегодня у меня горе: кто-то ночью повалил две колодки пчел, залил их и таким образом погубил. Когда я увидал это злое дело, — каюсь, заплакал... У меня всего только четыре колодки, и мне не легко было развести их.

Но дело даже не в этом, — Бог с ними, с пчелами! — А какая же злоба и какая дикая тьма должны быть в человеке, чтобы сделать такую гадость!

Думаю, что это мне за вчерашнее... Вчера был праздник —Казанская, а я после обеда работал. Вышел целый скандал, чуть не драка, но я все-таки сделал по-своему. С какой стати должен я подчиняться выдумке каких-то дикарей, у которых одна цель—выпить?..

Они кричали:

— Что ты, сукин ты сын, за таковский выискался, один противу мира идешь, а?

— Я против мира не иду, — сказал я им, — а против ваших порядков иду. Кто не хочет работать — не работай, а я хочу, и никто не смеет мне запретить.

Скандал этот начался у меня на усадьбе. Я трёс сено. Вижу, идет ко мне, опираясь на палку, дядя Налим. Я сразу понял, в чем дело, и сделал вид, что не замечаю его. Он подошел и, не сказав обычного: «Бог помочь!» — спросил:

— Порабатывашь?

— Да, — ответил я, — погода хорошая... ведро... чего-ж зевать. Завтра, почем знать, может, дождик пойдет... пропадет добро.

— Та-а-к, правильно!.. А ведь ноне, — продолжал он, помолчав, — люди сказывают, праздник большой, в кругу. Ноне Пресвятыя чудотворныя иконы Казанския Божия Матери, а?.. Забыл, знать? Как ты, басурман, полагаешь? Не слыхал звону-то?.. Ты в храм-то Господний сходил, а? Ах ты, сукин ты сын!.. Возьму вот палкой да начну охаживать... Забыл, что надысь на сходке говорено было... Забыл?

— Помню, — сказал я, — да мне наплевать, что вы там порешили.

Наплевать, а?.. Наплевать тебе?.. Проплюешься, сукин ты сын, проплюешься. Ах ты, мошенник ты эдакой, пра-а-хвост! Язва! Погоди, мы с тобой сделаем... заплюешь ужо...

Он ушел, а спустя полчаса после его ухода ко мне прибежал сынишка и, запыхавшись, выпалил:

— Тятька, тятька, иди скорее... Таматка к нам под

окошки мужики пришли, тебя зовут... ругают тебя стра-а-а-сть как!

Действительно, под окнами моей избы собралась кучка мужиков из самых отборных пьяниц и горлопанов.

— Вот он, — ткнул на меня пальцем дядя Налим, — возьмите вот его, богоотступника... «Мне, гыт, наплевать на все... Я, гыт, по-своему делать стану. Я, гыт, не намерен вас слушать»...

На меня набросились со всех сторон, требуя «два двадцать». Я сказал: не дам. Начался крик, сквернословие, трясение кулаками... «зубы вышибить», «придушить» и т. д. Вообще вышла безобразнейшая сцена, на которую, разинув рты, смотрели мои дети.

В заключение, кто-то крикнул:

— Погоди, такой-сякой, боле отдашь!.. Спокаешься, взвоешь; мы тебя найдем...

И вот, действительно, нашли...

Невеселую картину представляет наша деревня. Чем живет она помимо «жратвы» — неизвестно.

У меня как-то раз вышли все чернила... Идти за другими в лавку далеко, а было нужно; пришла баба с просьбой — написать письмо в Москву к сыну... Пойду, думаю, спрошу у соседа, нет ли мол. Прихожу, спрашиваю.

— Что ты, — говорит, — Господь с тобой, каки у нас чернила? На кой они нам ляд...

Обошел всю деревню, все тридцать два двора, и нигде не нашел...

Живем точно отрезанные от всего мира. То, что делается на белом свете, до нас не касается. «Мало ли чего таматка господа придумают... Наше дело маленькое... нам бы хлебушка, а больше ничего и не надыть»...

Все не то чтобы избегают друг друга, а как-то удивительно злобно ненавидят. Если случилось горе, беда, то это для других радость... Неистощимая тема для разговоров.

— Так ему, сукину сыну, и надыть... Под другими-то рыл яму, сам в нее и ввалился... Бог-то наказал...

Все и каждый следят друг за другом: куда поехал, что сделал, что купил, что с'ел, выпил?..

Все, что за последние годы волновало и волнует нашу «многострадальную Русь», прошло мимо нашей деревни стороной, не задело и краем, а если и задело, то как-то по-дурацки, совсем не так, как надо, а шиворот на выворот. И мне кажется, что не скоро опять заденет так, как надо...

А кто виноват?..

Впрочем, какое мне дело?.. Мне самому, — я выразить не могу, до чего надоело это нищенское прозябание, грязь душевная и телесная, теснота!.. Эта проклятая «власть земли»!..

Убить бы, что ли, кого-нибудь, обобрать, плюнуть бы на все!..

Ходили к попу на помочь всей деревней косить луг. Косить начали после обеда, часу во втором, и к вечеру, еще далеко до заката солнца, кончили...

Батюшка сделал угощение. Подносил каждому сам чайной чашкой... Закусывали огурцами да селедками «резанные горлушки».

В конце концов все перепились и стали кричать песни. Батя тоже «выпимши» стоял посреди нас и дирижировал, махая по воздуху обеими руками.

Домой на ночь я не попал... Ночевал где-то во ржи и потерял картуз.

Отвратительно чувствую себя после этой помочи... Тоска невыносимая, и стыдно, точно украл что.

О, сколько раз я давал зарок не пить, — но нет, не могу, не могу, не могу!..

Водка... Что такое водка в деревне и как ее пьют?.. Водка это — все... За водку сделают, что угодно...

И странное дело, — мне кажется, пьют ее не затем, что приятно пить, а потому, что каждый не уверен в своей жизни, не уверен, что он твердо стоит на ногах и не упадет, как ребенок, только что начавший переступать.

Боязнь жизни и заставляет пить. «Хоть час, да мой!» Мне вот думается, что если бы, допустим, у меня было все хорошо, и знал бы я, что и сегодня, и завтра буду сыт, обут, одет, в чистой избе, не с дикой бабой, а с действительной подругой жизни, не с золотушными, малокровными, пузатыми детьми, и что впереди мне бояться нечего, то я не пил бы так или даже совсем бы не пил... Но... Страшно жить так, а как переменить эту жизнь? Кто ее переменит? Кто поможет?..

Я часто с грустью и с болью в душе думаю, что те люди, которые хотели переменить нашу жизнь к лучшему, все погибли... И кто из тех, за кого они погибли, вспоминает их добрым словом?

Может быть, впрочем, даже наверно, придет время — вспомянут, только долго-долго ждать этого. Мне не дождаться, а дети... Страшно подумать, а похоже на то, что и дети не дождутся!

Дети, дети... Господи, что мне с ними делать?.. Как вывести в люди?.. Как показать свет?.. Как спасти их?.. Больно мне от этих вопросов... хочется плакать... хочется взять и разорвать самому свое сердце!

Сено в городе на базаре «нипочем»: десять — двенадцать копеек пуд... Привозят его страшно много. Вся площадь заставлена возами.

Что делать?.. Мука вся. До нови еще далеко, да и мало надежды на эту новь. Повидимому, придется получить одну только солому, ибо рожь во время цвета хватило два раза подряд морозом. Расчитывал на картошку, но и тут ошибся: картошка почему-то не уродилась. Рядом, на полосе у Птюшкина, отличная, а у меня по ореху, — какая-то парши-

вая и больная. Жена говорит — от того это, что я, «не благословясь», дело делаю...

— Люди вон все с молитвой, благословясь, а ты все с чортом... Он твой приятель, он тебя и осетил: ничего у тебя и нету, ничего и не будет...

Не знаю и не придумаю, что делать... Ужас берет, когда вспомнишь, что впереди осень с длинными, темными, ветреными ночами, а за ней — холодная, бесконечная зима!..

Теперь я вот здесь, в этом чулашке спасаюсь... один все-таки: и пописать вот могу, и почитать, что достану, а осенью, когда начнутся холода? А зимой?..

Волей-неволей приходится торчать в избе с утра до ночи, часто без всякого дела, слушать ругань жены, плач детей, бормотанье матери... А грязи и гадости всякой в избе зимой прибавится вдесятеро: отелится корова, теленка возьмем в избу...

Горе и горе!.. Ни просвета, ни надежды...

Осталось три дня до престольного праздника Ильи Пророка, а у меня мука вся и вообще, как говорит жена, «все — все»... Что делать? Жена просто на стену лезет...

— У людей вон праздничек Христов встречают, — начала она вчера вечером за ужином, — а у нас пылины муки в дому нету-ти... Надевай суму да иди под окнами стрелять... А все ты, со своей умной-то головой... То ему не так, это ему не эдак... умница, подумаешь!.. Речист где не надыть, мразь стоячая! Чего сидишь-то, чего думаешь, чего ждешь-то? С неба тебе свалится, само придет?.. Сходил бы к приятелю в лавку, попросил бы, покланялся бы... Може, дал бы чего: чайку, сахарку, муки хучь пуд... Праздник ведь на дворе-то, а наши дети черного куска не увидят. Сходи поутру.

— Не даст, — сказал я, — и ходить нечего.

— Ну, так что ж делать-то, а?.. С голоду околевать, что ли?

— Сена продать бы воза три, — сказал я.

— Дарма-то отдавать?.. Спасибо! А весна придет, —

самим покупать в тридорога, аль последнюю коровенку со двора тащить?

— Занять бы у кого-нибудь?

Поди займи, коли ловок... Меня все, небось, наровишь послать... Я и так рвусь, как собака, а сам ни с места, портки все протер, сидя на одном месте — чинить нельзя стало... Ступай-ко, ступай к своему Наумычу, покланяйся... Какой ты есть дому хозяин, а? Вон они щеняты-то скулят, жрать просят... твои, небось... не с солдатом я их пригуляла-то, не в подоле тебе принесла... Должен заботиться, должен кормить...

Я молчал. Что я мог сказать на это? Она заплакала и начала ругаться скверными словами. Я ушел к себе в чулан, лег, и мне слышно было, как, надрываясь, захлебываясь, не плакал, а «вопил» в люльке больной ребенок, и как жена проклинала его...

В конце концов я не выдержал и сам заплакал...

Слезы были тяжелые, невыносимые, злые...

Завтра у нас «престол», Илья-пророк...

> «Приди ты, немощный, приди ты, радостный,
> Звонят ко всенощной, к молитве благостной» —

зубрил я, помню, когда-то в школе... Как давно это было!.. А теперь?.. Какая тут молитва «благостная», когда все мысли направлены на то, как бы «справить праздник по-настоящему», «как у добрых людей»; то есть... из последнего купить водки, сварить пива, угостить гостей и дня два — три быть самому пьяным...

Этого дня ждут год. За неделю еще до праздника говорят о каком-нибудь деле, которое нужно сделать: «ну, обожди... после праздника»... И вот, как я стал себя помнить, из года в год праздник «справляется» одинаково... Все одно и то же, до тошноты. Так же поутру, «чем свет», ударяют к заутрене, так же после заутрени начинают перезванивать к

водосвятию, так же кричат на обоих клиросах любители-певчие, так же ходит и гнусит рыжебородый дьякон, так же после обедни торгуют неподалеку от церкви в палатках пряниками, так же ходят толпами с гармошками молодые парни, так же толкутся, сбившись в кучу, как овцы, девки, так же начинается по избам гульба, так же подносят «стакашком» водку, упрашивая выпить: «Сват, родной, выкушай! Сватьюшка, а ты-то, ты-то, родная!.. Дождались, слава те, Господи, сподобились... Илья-пророк, батюшка... доживем ли, нет ли еще до этого дня» и т. д.

Все то же, все то же!.. И все-таки другим — радость. А я... Нет, убегу куда-нибудь завтра, скроюсь!.. Господи, научи, коли ты есть, что мне делать? Где искать покоя? Как утишить эту муку душевную, тоску эту проклятую, которая неотступно терзает меня!..

Утром в праздник проснулся рано и сразу почувствовал, что меня как будто кто стукнул обухом по голове и крикнул:

— Вот он, пришел, радуйся!..

Было еще рано, вставать не зачем... лежал, думал, и слушал, поджидая чего-то неприятного и предчувствуя, что это неприятное не замедлит явиться. Так оно и случилось.

Жена вышла на двор доить корову и, услыхав мой кашель — я за последнее время стал кашлять тяжело и подолгу, в особенности по ночам — крикнула:

— Проснулся, хозяин, с праздником!.. — и, видя, что я молчу, продолжала со злобным ехидством: — Вставай... скоро пироги поспеют... я самовар приготовлю, а ты иди, выкушай рюмочку пока... гости, небось, приедут, царь в карете... с гостями опять выпьешь... у меня все уж припасено: и закусить, и выпить...

И вдруг сразу оборвала и завыла, точно голодная собака, жалобно и отчаянно:

— Что-ж это такоича, а? До коих же пор я буду терпеть-то?.. Что-ж теперича, в самом деле, по миру идтить, суму

надевать? Ведь есть-то нечего... укусить, скажи, нечего, останный хлеб на брусу лежит... Ты бы об этом-то подумал, проклятый! Ты бы хучь об детях-то подумал, уж я про себя-то не говорю, уж мне все одно... Дети-то за что муку-то мученскую несут... андельские-то душки чем виноваты, а? Не хочет ни об чем подумать, прилип к одному месту: ни просить, ни сходить куды разузнать... не пропрешь!.. Само к нему придет, с неба свалится...

Господи, — еще шибче завопила она. — Царица ты моя небесная, ма-а-тушка!.. Хуже-то мы, посмотрю я, всех!.. Нет-то нас хуже: разуты, раздеты, голодны... О-о-о, батюшки вы мои родимые!.. Что мне делать-то, что мне делать-то?.. О-о-о!.. О-о-о!..

Я молчал, сознавая, что жена по-своему права, и от этого мне делалось еще хуже. Между тем она не умолкала... вой ее, по всему вероятию, был слышен у соседей и далеко по улице. Мне стало невтерпеж. Я вскочил, кое-как поправил свой костюм, схватил картуз и буквально убежал из дому, — сначала в огород, а оттуда, слыша все тот же вой и не в силах выносить его, перелез через плетень и задами, по усадьбам, направился под горку, по ту сторону ручья, в лес.

В лесу было тихо, сыро и как-то необычайно грустно. Полянки скошены, и на молодых березках на нижних ветках кое-где уже висели желтые листья. Чувствовалось во всем — и в глубоком молчании леса, и в поблекшей траве, и в самом воздухе — приближение осени. Тоска, тихая и печальная, казалось, стояла вокруг, как туман над болотом. Не жить хотелось, а тихо и незаметно слиться с природой и вместе с ней уснуть.

Беспорядочные, ненужные, странные мысли проносились в голове... Вся моя жизнь с самого раннего детства, как только я стал себя помнить, какими-то отрывками, клочками, проходила передо мной и будто нарочно дразнила и мучила своим убожеством.

Между тем, пока я бродил по лесу, солнце взошло и

стояло уже довольно высоко. Под его лучами стали сохнуть покрытые росою за ночь листья и трава.

В селе зазвонили к обедне.

— Куда же мне идти и что делать? — задал я себе вопрос и, не зная, что на него ответить, сел на старый пень и, свернув папироску, стал курить.

И опять странные, ненужные и злобные мысли закружились и замелькали в голове, точно снежинки во время мятели...

Звуки колокола наполняли весь лес и еще пуще волновали и раздражали. Мне чудилось, что колокол не звонит, а кричит что-то отчаянно и тоскливо, все одно и то же... И в этом крике нет никакого значения и смысла, а только одна мертвая тоска.

Я встал и пошел по направлению звуков в село.

«Зайду к лавочнику, попрошу, — с тоской предчувствуемого напрасного унижения, думал я: — даст — даст, а не даст — наплевать!..»

— Не даст — наплевать! — казалось, звонил и колокол.

Войдя в село, я не пошел прямо в лавку, зная, что она теперь заперта и хозяин Григорий Наумыч в церкви. Я забрался в пустую ригу и лег там на какие-то мелкие, заброшенные за негодностью, ухвостья с целью дождаться конца службы.

Ударили «к достойной»; спустя долгое время — к молебну, и наконец вдруг, как-то отчаянно-радостно, точно под пляску, затрезвонили «во все»... Молебствие кончилось...

Побыв в риге еще с полчаса, я вышел и направился в лавку задворками, точно вор, стыдясь своего костюма, боясь с кем-нибудь встретиться.

Подойдя, я увидал, что лавка еще заперта, но хозяин Григорий Наумыч уже дома. Мне видно было сквозь кусты акации и сирени в палисадничке перед домом, что сам он сидит боком возле окна на своем обычном месте и пьет с женой чай.

Окно, около которого он сидел, было открыто. Я притворил калитку и прошел палисадничком. Григорий Наумыч меня как-то не заметил.

— Здравствуйте, — сказал я, — с праздником!

Он быстро обернулся и, как всегда деланно-ласково и радостно, воскликнул:

— А-а-а, сынок! — он постоянно так называл меня. — Ты это как, а? В церкви, что ли, был? — и, окинув меня с ног до головы пронзительным взглядом, добавил: — да словно не похоже.

— Нет, — сказал я, — не в церкви... Я к вам.

— Зачем больше?..

— Да дельце есть...

Он помолчал. Допил с блюдца чай, хлюпая губами, выплюнул на пол кусочек сахару и сказал:

— Проходи в хату, иди чай пить. Проходи...

Он поднялся с места, вышел в сени и, что-то потихоньку напевая, отпер для меня входную дверь.

— Чудно мне, — сказал он, снова окинув меня с ног до головы взглядом и пропуская из сеней в комнату: — что это тебе вздумалось. У вас, чай, тоже праздник... Как же ты это от праздника-то?..

Я ничего не ответил и поздравил с праздником его жену Анисью Петровну, худую, длинную бабу с большим ртом и тонкими синими губами, сидевшую за столом и пившую чай.

Она молча и с нескрываемым презрением кивнула головой и, обратившись к мужу, спросила:

— Тебе еще налить?.. Пей, чаю много.

— Насыпь! — ответил муж и, обращаясь ко мне, сказал: — Садись к столу. Давай с нами чай пить... Анисьюшка, насыпь ему. Бери, вон, стул-то... Подвигайся...

Я подсел к столу. На столе, помимо самовара и чайного прибора, стояла закуска: колбаса, нарезанная ломтиками, сыр, копченая селедка и два пирога — один с рисом, другой с вареньем.

— Закуси, сынок... С'ешь вон пирожка, — предложил мне Григорий Наумыч и, вдруг спохватившись, воскликнул: — А что ж я тебе выпить-то, а? И из головы вон, ей Богу. Сам-то я не пью, ну мне ни к чему, забыл... Не выпивши, закусить потчую... Ох, грехи тяжкие...

Он встал, отворил шкафчик со стеклянными дверками и, достав оттуда бутылку, изображающую медведя, налил в рюмку «с наперсток» какой-то настойки.

— Выкушай, на вот, — сказал он.

Я выпил. Он заткнул бутылку пробкой и, поставив ее опять в шкафчик, сел на свое место к столу, а я почему-то следил за каждым его движением пристальным, точно прилипшим, взглядом.

— Ну, что скажешь, сынок, а? — тяжело вздохнув, спросил он. — Как поживаешь?.. Давно тебя не видать.

— Плохо живу, — сказал я.

— Что так?

— Есть нечего.

— Ну?

Возглас был противный, глубоко лицемерный и лживый. Я чувствовал, что он отлично знает, что у меня нечего есть, нисколько не удивляется и знает, что я сейчас у него попрошу.. У меня поднималось что-то к горлу и сверлило в груди.

— Скоро, небось, жать начнете? — спросил он опять тем же лицемерным голосом. — Аль уж начали? . .

Жать-то нечего, — сказал я. — Пропало зерно. Одна солома.

— Божья воля.

Я опять промочал. Он как-то подозрительно посмотрел на меня, но все еще пытался отодвинуть об'яснение — зачем я пришел.

— А у тебя много ребятишек-то?

— Четверо...

— Гей ... ишь ты... четверо, н-да! Четверо.... Вот оно что.

И, забарабанив пальцами по столу, отвернулся и посмотрел в окно. Было видно, что он не только понял, зачем я

пришел, но и решил уже про себя ничего не давать. Смущенный и подавленный, я молчал.

— Ну, так как же, а? В чем дело-то? — помолчав, спросил он.

— Не можете ли вы дать мне взаймы — я хотел сказать: «мешок», да не посмел — пуд муки?..

— Эва! — как-то даже радостно воскликнул он, не глядя на меня и бегая глазами по сторонам. — Где ж ты раньше-то был?.. Приди ты третьевось — дал бы, слова бы не сказал, а теперича нету у самого... Последний мешок сторож вон с барского двора взял, нету, сынок, ни пылины... Да ты, чудак, занял бы у кого-нибудь в деревне-то... Неужели во всей деревне пуда муки не найдешь? Отдашь, небось... Скоро вон, Бог даст, на днях, своя будет, обойдется дело-то... Пей чай-то, простыл стакан...

Он замолчал, зевнул и забарабанил опять пальцами по столу, глядя в сторону своими равнодушно лицемерными глазами. Видимо, он был доволен, а во мне поднималась и закипала едкая злоба. Так и подмывало размахнуться и ударить этого самодовольного, нахально лгущего человека.

— Отдыхать-то будешь, аль нет? — лениво промямлила жена.

— Сосну часок, — ответил он. — Пей, пей чай-то! — обратился он ко мне: — пей... Да, давненько тебя что-то не видать... Заходи почаще, у меня газеты есть, почитал бы... нет ли чего новенького... Сам-то я все как-то время не выберу... Да и смотреть стал плохо, не вижу, особливо, вот, на левый глаз... Боюсь, сынок, не темная ли вода подступает! — прибавил он с какой-то ласковой живостью, очевидно доставляя мне случай выказать ему свое участие.

— Вы дали бы мне хотя рубль, — сказал я, перебивая его, — осенью продам овса, отдам.

— Ну, вот, — воскликнул он: — опять, денег, рубль! Чудак ты, сынок! Ступай, погляди в ящике, есть ли там рубли-то? Монеток двацать, никак, медными валяются... Какая у меня торговля, так только, нужда заставляет, надо

как-нибудь кормиться, надо век доживать как-нибудь... Нет, сынок, не могу, мы деньгами не торгуем. Нету... Были, признаться, деньжонки, — продолжал он, мельком взглянув на меня, — собрались было, да истратил. Быка у Кузьмы купил, затратил деньги-то... теперича вот подбился, сижу вот, товар в долг роздал... Тот придет, просит: «дай!», другой... Дашь, ну и говори, что пропало: ходить перестанет, забудет, как тут и дверь-то отворяется... Нет, сынок, извини, — и жалко мне тебя, а нету... Были — не отказал бы...

Я слушал, глядя ему в лицо с каким-то новым и странным чувством, похожим на любопытство. Вдруг, как-то сразу, неожиданно, точно варом каким обварила меня всего с головы до ног и ударила в сердце пришедшая в голову мысль:

— Чего ты ждешь?

Я почувствовал, как у меня затряслись руки и кто-то будто начал стучать по голове молотками.

Я вскочил. Должно быть, в эту минуту было в моем лице что-то особенное. Его спокойное самодовольство исчезло, сменившись тревогой, внезапной и как-то жалкой.

— Что ты, сынок, а? — с испугом и понизив голос спросил он: — побледнел даже весь... Да с чего ты это, а?.. Осерчал, обиделся? А ты не серчай... Ей-Богу, у самого нету... Погоди, постой! Полтинник, уж так и быть дам!..

И, сказав это, он полез в карман за кошельком.

Я схватил фуражку и выбежал...

На улице я остановился, оглядываясь кругом, как внезапно проснувшийся от сна. В висках у меня стучало... Сердце сильно колотилось в груди.

— Нездоровится, знать, а? Где был-то?

Это спрашивал у меня знакомый угольщик, Иван Долгобородый, с любопытством заглядывавший мне в лицо.

Я немного отряхнулся и сказал, где был и зачем.

— Га, захотел тоже! — воскликнул он: — да у него кровь из зубов пойдет... даст он, держи карман-то. Спят на день-

гах, анафемы! Эх! Вот бы на кого експирияторов-то наставить... любезное бы дело... ей-Богу!.. Ты куда же теперича? Пойдем ко мне, выпьем... поднесу для праздника.

Мне, брат, не до праздника, — сказал я: жрать нечего, дети голодают... Ты не выручишь ли, не дашь ли пуд муки?

Он весело засмеялся и сказал:

— Да бери хучь два! Небось, когда-нибудь отдашь... Что ж тебе без хлеба сидеть, не жрамши?.. Бери! Бог велел делиться, сыты авось будем... мне плохо придется — я к тебе приду. Чай, не прогонишь? Так-то, родпой! Пойдем-ка вот, выпьем для праздника по баночке... Посидим, потолкуем, дело-то, глядишь, и обойдется... Пойдем!..

Рожь сжали, свозили и обмолотили...

Я, кажется, не собрал и семян. Зато соломы оказалось много. В овин «сажали» без малого по пятисот снопов, а намолачивали с них полторы меры... Бывало, в хороший год с этого же самого овина намолачивали 15—18 мер...

Как жить? Что будет впереди? Сколько дожидаться еще до новей! Все надоело, и не глядел бы ни на что. Хожу, как в воду опущенный, а душой овладело какое-то странное равнодушие... Пьяный пастух с подпаском «заладил» все стадо в яровое: все смяли, перепутали, заваляли так, что теперь и на косу не поймаешь...

Я с пастухами разругался, но как-то равнодушно. У них случилось тоже несчастие: старший, хозяин, зарезал подпаска, малого лет двадцати. Произошло это страшное дело из-за пустяков: подпасок с похмелья стащил у пастуха сапожные «головки» и где-то их около казенки продал за три четвертака, которые и пропил. Это узналось, и вот, когда он возвратился утром назад, пастух набросился на него и начал бить. Бил долго и жестоко. Потом, очевидно, совсем озверев от злобы, схватил ножик и выпустил у подпаска кишки. Дело это было не где-нибудь в уединенном месте, один на один, а при народе, и никто не догадался

разнять дерущихся... «Так и надыть, не воруй... Ишь ты, ловкач какой выискался»...

Тело подпаска и теперь еще валяется на месте преступления, дожидаясь начальства, а мы по череду караулим его.

Караулил и я... Долго глядел в молодое застывшее лицо с выражением почти еще детского страдания, и в моей голове стояла одна неотвязная мысль: — «Из-за чего он убит?..» Из-за каких-то несчастных головок, ценою в три четвертака.

Скоро Успенье, — сев. Что намолотили, почти уже с'ели. В земстве мы должны, и там, говорят, не дают... Зарез!..

Дома каждый день из-за нужды, из-за тесноты ругань, свара, попреки... Жена говорит, что опять «затяжелела», но я ей не верю: врет, со злости. А если это правда, что же тогда?!.

Хорошо бы уйти куда-нибудь, скрыться на время, освежиться, побыть с чужими людьми... Уйти от себя, от диких и страшных мыслей, постепенно овладевающих мною, не дающих покоя ни днем, ни ночью, ни на досуге, ни за работой...

Мысли гадкие, низменные, злые, — все о деньгах, как бы добыть их, как разбогатеть сразу... И я знаю даже, как это сделать: встревоженное лицо Наумыча, его испуганно забегавшие глазки то и дело оживают в памяти. И за ними упрямо тянется ряд других воспоминаний...

...Деньги он всегда держит дома: боится положить «в банку», думая, что «банка» лопнет... Прежде я хаживал к нему часто и пользовался полным его доверием. Он почему-то, кажется, даже любил меня, часто просил почитать ему книжку, добытую в школе, издание «Посредника», или газету.

Раз как-то сидел я у него в праздник за чаем, и в это время из соседнего барского имения приехал верхом приказчик под предлогом, как это после об'яснил мне Наумыч, купить кое-что в лавке, а на самом деле затем, чтобы разменять на мелочь сторублевую бумажку. Наумыч вышел к нему в лавку, а я остался в комнате один. Минут через

пятнадцать Наумыч возвратился из лавки обратно и прошел в другую комнату, «спальню», где у него стоит широкая с грудой подушек, покрытая стеганым ватным одеялом кровать.

Прямо против меня, где я сидел, висело зеркало, и я видел в нем все, что проделывал Наумыч.

Войдя в спальню, он откинул край одеяла, встал на коленки, наклонился, подлез немного под кровать и как-то особенно быстро и ловко поднял из половицы небольшую, в аршин, доску... И из образовавшегося под ней отверстия он вытащил металлическую шкатулку.

Мне сразу стало понятно, в чем дело. Чувствуя какую-то неловкость, я встал с места и, пройдя в дальний угол к окну, стал глядеть на улицу.

Минут через пять он вышел из спальни и, увидя меня у окна, спиной к нему, сказал:

— Ты что ж, сынок, не пьешь? Пей... Наливай сам... Куда это только старуха запропастилась, пес ее знает. Наливай, я сейчас...

Отпустив приказчика, он возвратился, и мы снова принялись за чай. Он чувствовал какую-то неловкость, видимо, хотел раз'яснить мне что-то, как будто сделал какое нехорошее, стыдное дело.

— Приказчик это из именья, Иван Иваныч, — говорил он, — взял кое-что по мелочи... Разменял ему бумажку: «мелкие, говорит, нужны — поденщиц рассчитывать!» Словно у меня, прости Господи, меняльная лавка... Мне и самому мелкие нужны... Да и нет крупных-то, откель им взяться? Бьюсь, как рыба об лед... С монетки на монетку перебиваюсь... Какие у меня деньги? Есть сотня — другая, берегу под старость. Так они у меня не здеся, не дома, а в банке положены, под книжку... Распустили про меня славу добрые люди, — продолжал он, схлебнув с блюдца чай, — что денег конца-краю нет.

Он поставил блюдце на стол, посмотрел на меня каким-то жалким взглядом и заговорил доверчиво и тихо:

— Вот теперича и боюсь, сынок, не скрою от тебя, по ночам не сплю... все жду: вот-вот придут эти, как их, ну, грабители-то нонешние... убьют, сукины дети, ни за что. Вон в Прудищах, летось, в Казанскую, пришли ведь к Лапину пятеро с леворвертами... Все ведь, что было-то... подумай, сынок, сам, своими руками отдал... Что станешь делать, отдашь! Им ведь человека жизни лишить — все равно, что, не за столом сказано, на двор сходить. Чего им бояться-то?.. Бога? Они в него не верют... Поймают их, повесят... «Наплевать!.. Все одно, так ли, этак ли, а издыхать не миновать»... Отпетый народ! Боюсь!.. Истинный Господь, до смерти боюсь, сынок! Ну, как придут, что станешь делать, а?

Его глаза смотрели на меня растерянно и вопросительно, ожидая какого-нибудь успокоительного, ободряющего ответа. Но мне было тогда только весело и смешно.

— Придется отдавать, — сказал я и улыбнулся.

— Чего отдавать-то?.. Отдавать-то нечего! — нахмурившись и внезапно рассердившись, заговорил он, — тебе вот любо... Зубы скалишь, смеешься... Чего тебе смешно-то? А? Чего смешно? Ничего смешного нету. — Плакать надо, а ему смешно. Эдакая подлость пошла по России, а? Слыхано ли было допрежь?... Думано ли? Приходят: «давай!.. руки кверху!» Тьфу!

На эту тему, когда мне приходилось бывать у Наумыча, он выпускал бесконечное число злобных и трусливых слов, а во мне шевелилось насмешливое веселое желание, чтобы его действительно ограбили.

Почему? Или уже и тогда эта мысль, которая сейчас овладела и захватила меня всего, смутно бродила на самом дне моей души, изредка подавая свой голос, точно аукаясь откуда-то издалека, и тихонько, ощупью, сбившись с дороги, в потемках брела ко мне навстречу?

И вот, мы сошлись, наконец, и теперь у меня есть огромная и властная поддержка во всем. Если я устал на работе, о н а шепчет мне в уши: «ничего, ничего... т о г д а

отдохнешь»... Если жена, плача и крича противные слова, набрасывается на меня, тыча в глаза нуждой, она снова шепчет: «Ничего, ничего... все это ведь, пока ты не сделал то... сделаешь, и ничего этого не будет... потерпи... все это пройдет, пройдет, пройдет!...»

И трусливые глазки Наумыча смотрели на меня робко и тревожно, как в тот раз, когда он признавался в своих опасениях или когда предлагал мне полтинник.

Порой мне становилось жалко, но странно: жалел я не Наумыча, а себя. Вспоминалось другое время, вспоминался приезжавший ко мне товарищ. Уехать бы хоть на время к нему, туда, где идет другая жизнь, отряхнуться, забыть все это: стыд, и тоску, и позор, и нищету, из которой нет выхода...

Тяжело... Стою на краю пропасти... Упаду в нее или нет?...

И нет кругом ничего... И нет никого, кто бы протянул руку помощи!...

Приходил утром староста Василий Василич, по прозванью «Шест-каршинный», и застал меня с ребятишками за завтраком. Пришел он, как всегда, озабоченный и сердитый, с книгой под мышкой...

Я, конечно, понял сразу, зачем он пришел, и не дал ему начать давно надоевших речей. Показав на детей, на грязь и убожество своей избы, я сказал одно слово:

— Видишь!...

— Вижу, — согласился он, — н-да! А как же быть-то?

— Как хошь...

— Когда ж будут-то?

— Не знаю.

— Кому ж знать-то, а? Тот говорит «обожди», другой «нету», а меня за это — едят... Эх-ма! Все-то по-новому пошло, только для нашего брата — все хуже... На то давай, на другое давай... На памятник летось генералу Скобелеву собирали... подай!... Провалитесь вы совсем и с должно-

стью этой!... А все нужда да баба: «соглашайся... тридцать целковых — деньги... на полу не подымешь»... Вот и труби теперь год-годеньский... сапог боле того, бегамши в волость, истреплешь... Опять — время теряю. Люди косить, а ты, аки сукин сын какой, иди отмеряй участок для какого-то дьявола... Цельную, понимаешь, неделю ходили, путались пятеро дураков: Спирке Птюшкину земли участок отводили... отруб-то этот... Дери его чорт, — на хутор захотел, баламутка непутевая!... Ему, сукину сыну, все одно... он об чем хлопочет-то: продать аль заложить да пропить, а ты вот тутатко из-за него целую неделю теряй... Чего она стоит-то! Ну, наплевать бы, погода плохая была, все одно тогда путаться-то, а то ведь ведро, — благодать... люди косить, а ты ходи...

— А что у вас за спешка? Можно бы и после, — спросил я.

— А шут их, прости Господи, знает!.. Спешка и есть... Чудно, голова: — заикнись только, что вот-мол на хутор желаю, на высылку, так в тебя и вцепятся обеими руками: «Иди скорей!... Пожалуйте!» Субсидию дают, деньгами, сколько-то корней из казенного лесу на стройку... Шут их знает, чего им охота нас по хуторам порознь, аки чертей каких, распихать? . . . Не иначе уж тут штуки какинибудь... Уж это как Бог Свят, и к маменьке не ходи... Заедем на хутора, — дальше ехать некуда!... К Птюшкину-то к этому, к обормоту-то, сам надысь земский приезжал из городу с членом устроительной по земле комиссии Чесаловым... Приехали, а он пьяней вина, — спит в холодке в шалашике... насильно добудились, дьявола!...

Он сделал покурить и, пуская дым к порогу, сердито продолжал:

— По теперешнему времю только и житье—попу да скворцу: скворец прилетел неизвестно откеда, а уж ему дом готов. Поп пришел — то же самое: «пожалте»... А ты слышал, — продолжал он, переменяя тему разговора: — Зябкина-то, Василь Яковлича, как обчекрыжили? Чище хрусталя, дальше ехать некуда!

— Кто? — встрепенулся я, — когда? Где?...

— Нашлись добрые люди! Знамо, уж не мы, тумаки, нам где уж, когда мы всего боимся, всякая курица заклевать может... Эти, как их, забастовщики-то нонешние... они!.. Пришли трое середь бела дня... самого-то не было, уехамши был с красным товаром на ярмарку в Кузево. Жена была дома, брат да старуха... Вместе со шкатулкой и взяли-то. Говорят, — правда ли, нет ли, — семьсот целковых ахнули! Закуска, а? Хы, хы, хы! Вот, чай, теперича Васька-то? Пронесло, небось, чище чем с касторки, хы, хы, хы! Так и надо! Так им мошенникам и надо! За дело... Истинный Господь, за дело! Позавидуешь людям, ей-Богу, — как умеют сделать... Скоро и хорошо... взял да пошел. А мы вот, прости Господи, аки черти какие... бегай вот, выкуся язык, аки пес какой...

— Что ж это он такую сумму при себе держал? — спросил я, чувствуя, как какой-то озноб пробежал по моему телу. — Да еще правда ли это?

— Ну, вот аще! Говорю, правда — стало быть, верно. Зачем таку сумму при себе держал? Хы, чудак человек, — зачем... Да они, старые обормоты, нешто выпустят из рук деньги! Боятся, — пропадут... Чего тут, — недалеча ходить, про своего тестя скажу: до старости тоже вот дожил, а тумак тумаком, тетерев какой-то, ей Богу... Тоже, вот, всю жизнь копил, дегтем торговал... накопил денег шесть сот и не знает куды с ними деться... Мыкался, мыкался, словно баба с ребенком: то туды сунет, то сюды... Досовался до дела, допрятался!...

Он засмеялся и продолжал:

— Потеха, истинный Господь, и смех, и грех! Упрятал он их раз в сарае: у ворот под лапу в землю зарыл... В банке они у него были, в жестяной, длинная этакая банка, — он мне опосля сказал, — с крышкой... и все, заметь, одними золотыми... Ладно. Успрятал это он их, и не терпится ему: бесперечь в сарай повадился бегать... «Здесь ли, мол? Целы ли?» А молодая сметила это дело... «Что

такоича значит — все в сарай да в сарай?..» Подсмотрела, да и того — из банки-то из этой, не будь глупа, поболе сотни и вынула... Все-то взять побоялась: удавится, мол, старый леший... не захотела, значит, на душу греха брать...

Он весело ухмыльнулся, блестя глазами, и продолжал:

— Вот иду я раз в церковь, — забыл в какой праздник... Иду, а рано еще, — к заутрене не ударяли... Гляжу, — что за диво: сыпет мне навстречу тестюшка мой, лица на нем нет... Взопрел, так и льет с него. — «Куда ты?» — спрашиваю. — «К тебе»... — А сам духу не переведет. — Зачем? — «Так и так, говорит, — ограбили... Полтораста не досчитаюсь никак... взяли, руками взяли! Свои, не иначе... что делать, научи?» — Что, говорю, учить тебя. Я тебе скольки разов, дураку, твердил: положь в городе под книжку, целы будут... процент будешь получать, а ты все свое... Вот теперича тебе наука, умнее будешь. Говори — слава Богу, что не все... — Заболел, — с огорчения-то: две недели в больнице вылежал... А деньги, пока хворал, у жены у моей сохранялись. Мне было давал, да я не взял... «Отдай, говорю, вон дочери своей... Ну тебя и с деньгами-то! Пропадут, — наживешь с тобой беды!...»

— Что ж он и теперь их при себе держит? — спросил я.

— Нет, какой при себе!... Выучили!... Послушался, положил... радехонек теперь, благодарит постоянно, когда увидит... Сам дома не живет, — ушел, в богадельню приделился... живет, — помирать не надо... Так вот они какие: без полена не уверишь...

Он посидел еще немного и ушел.

Жена, копавшаяся над чем-то у печки и молчавшая все время, пока мы разговаривали, обернулась ко мне, как только он скрылся за дверью, и сказала странным голосом, в котором звучало и осуждение, и злоба, и зависть:

— Вот как люди-то богатеют, не боятся! Верно пословица-то говорится: пустишь душу в ад — будешь богат... Не боятся и ада мошенники! И то сказать: этак, вот, дома-

то сидя за печкой, немного наживешь... Под лежачий камень и вода не бежит.

— Что ж, стало быть, и мне, по-твоему, за грабеж приниматься? — спросил я, взглянув на нее и ожидая ответа.

— Где уж тебе! — с нескрываемым презрением воскликнула она: — куда ты годен-то? Сиди уж, Ерема, дома... Вот скоро суму надевать придется, просить под окошками... самое по тебе это дело... Знай, потряхивай сумочкой-то!...

Она опять завыла по-своему, потом принялась браниться, потом, по обыкновению, зная, что я этого в особенности не переношу, накинулась, как цепная собака, на детей.

— Черти, дьяволы проклятые, чтоб вы передохли все, чтоб вам засад сел в глотки-то и с отцом-то вашим вместе, окаянная сила, мучители!... Шел бы хушь, дьявол тебя задави, в люди куды ни на есть, на место на зиму-то... В Москву бы шел... Да, правда, — спохватившись и еще с большей злостью и ехидством продолжала она, и в Москву-то тебе нельзя: за хорошие дела выгнали... Забастовщик проклятый! Бесстыжие твои бельмы — боле ничего!... За-а-ел ты мою жизнь, мошенник!... За-а-ел, су-у-кин ты сын!... За-а-ел!...

Я слушал эти надоевшие постылые причитания, но думал не о них; в голове у меня, как в темном лесу, бродили и откликались свои мысли.

Целую неделю ненастье: пасмурно, серо, тоскливо. Надвигается осень, ночи делаются длиннее, темнее... Ветер шумит по-осеннему: глубоко, угрюмо, зловеще. На дворе сквозь прогнившую на крыше солому постоянная капель. Коровенка жмется в угол, выбирая где посуше. В избе грязь, вонь, сырость, детский вой, бормотанье старухи, ругань жены и... почти голодовка.

С вечера ложусь спать в своем чулане рано, как только стемнеет. Огня не зажигаю, потому что нет керосина. Жена

нащипала из березового полена лучины, высушила ее и украдкой, чтоб не видали соседи, «а то совестно... осудят», — жжет ее с вечера и ночью, вставая к ребенку.

По ночам я сплю мало: лежу навзничь, подложив под голову руки, гляжу в темноту и думаю... Мысли тянутся такие же темные, угрюмые, как осенние облака, и, кажется, даже воют и гудят так же зловеще, как ветер.

Под утро уснешь, и снятся странные, ненужные сны, от которых потом весь день носишь в душе что-то мучительное и нездоровое.

Вчера видел себя молодым и свободным... Живу я в Москве... И ее видел, свою Дуняшу... Где она теперь?.. Едем мы с ней, будто бы, в праздник по Плющихе на Девичье Поле на гулянье... вдруг, откуда ни возьмись, собачонка прямо под колеса пролетки...

— Ваня, Ваня! — кричит Дуня, — смотри, собачку задавили, собачку задавили! Задавили, задавили!.. Боже мой...

Проснулся. Хлынули в душу воспоминания... Вся жизнь прошла в памяти с самого детства... Так сделалось тоскливо и так жалко самого себя, что не утерпел и заплакал...

Боже мой! Неужели кончена жизнь и ничего-то уже, ничего нельзя ждать от нее?.. И умирать придется, зная, что и детям предстоит эта же горькая чаша?..

Так ли? Кончено уже все и для тебя и для них?.. Нет, нет! Огонек еще не погас, еще не погас, еще теплится где-то мерцающей звездочкой, еще, может, разгорится и осветит рано или поздно эту проклятую тьму, и не будет ее...

Будь она проклята, эта сырая, промозглая, душная тьма!

Только... где же он, огонек этот?.. Как разглядеть его, как пройти к нему, чем поддержать? Голова напряглась до отупения, до боли, а тьма была все такая же. И когда в полузабытьи я с усилием пробирался к огоньку сквозь буераки и чащу, — он исчезал...

И опять смутно мерцал, — так же далеко и неясно. И когда я окончательно выбивался из сил, — передо мною

являлась пара глаз, они смотрели на меня с вопросом и тревогой и начинали бегать по сторонам, испуганные и жалкие. Я знал их. Это были глаза Наумыча.

— Боится, — проносилось в уставшем мозгу... — А мне что же? Так и остаться навсегда в этой постылой промозглой яме?..

У меня семейная радость: умер маленький... Ему пошел только двенадцатый месяц. Под конец я не мог смотреть на него... Это была одна сплошная гноевая болячка... Подсохнет эта гадость, сдерется, как кожа с картошки, и сейчас снова начинает мокнуть и гноиться... Кричал он днем и ночью, и этот неумолкаемый крик смертельно терзал мое сердце. Несколько раз посылал я жену в больницу, но она, будто на зло мне, предпочитала лечить его какими-то домашними средствами, какой-то травой-чередой... Теперь, когда мальчик уже успокоился, она плачет и опять винит меня.

— Ты, ты всему делу, мошенник, причинен, — кричит она, — погоди, дождешься, всех ребят голодной смертью поморишь... Какой ты есть отец, когда дети разумши, раздемши, голодные... За каким ты чортом женился?

Сколотил я из досок кое-какой гробик и вырыл на погосте могилку...

Погост у нас от деревни с версту, или даже больше, глухой, старый, заросший травой и запущенный...

Я провел там почти весь день... Выбрал сначала место, повырубил сучья, корни и начал рыть яму. Рыть было трудно: глинистая земля слежалась и затвердела, как камень... Устав, я садился отдыхать, и странное чувство какой-то тихой и даже приятной скорби, от которой хотелось плакать, наполняло мою душу.

Глубокая, жуткая тишина царила на кладбище. Неслышно падали с берез уже сильно пожелтевшие листья... Высокая трава «метла» пожухла и побурела... пахло легкой гнилью... На бугорках-могилах стояли кое-где кресты; дру-

гие уже валялись на земле, подгнив снизу... Некоторые могилы, вырытые, очевидно, зимой и заваленные кое-как мерзлыми комьями, теперь проваливались, и как-то особенно жутко было глядеть на эти зияющие провалы... Все поросло травой, бурьяном, кустарником и стояло в тихой задумчивости среди сырого тления.

Я глядел на эти забытые, заросшие, заброшенные могилы и думал:

«Какие люди лежат под ними? Ведь, они тоже жили когда-то, двигались, думали, страдали, радовались — и нет их... И я буду лежать здесь же, и меня зароют в такую же яму... Что останется от меня? Куда денется то, чем я сейчас жив, что заставляет меня двигаться, думать, страдать и работать? И почему те люди, которые верят в загробпую жизнь, боятся все же смерти. Если бы я мог верить, если б был твердо убежден, что там есть что-то другое, лучшее, или хоть просто иное, я не стал бы, кажется, дожидаться смерти, а из одного любопытства узнать поскорее, что и как там, убил бы себя... Я очень завидую этим людям-детям, верующим в то, чего никто не видал и не знает. Чего им бояться? Самые страдания на этой земле приобретают и смысл, и значение: ведь чем больше горя, грязи, нищеты и унижения здесь, тем больше награда там...

А я? Во что я верю? За что мне уцепиться? Прожить в нищете, в грязи, в унижениях всю жизнь и в конце концов попасть в яму, где меня с'едят черви и ничего от меня не останется... Зачем же я страдаю? Нет, я буду бороться!... Пусть мои братья, «свободные граждане», ковыряют свою проклятую глину, живут в лачужках, пусть «все терпят во имя Христа», пусть ждут и верят, что им будет хорошо *там*... Я не могу. Я хочу, чтобы мне было хорошо *здесь*... Хоть бы год, неделю, день — все равно. От этого года, недели, дня, от одного яркого часа осветятся промозглые сумерки всей моей невыносимой жизни.

Да, я этого хочу... И я сделаю это, сделаю, сделаю»...

Кое-как, с грехом пополам, схоронил я своего несчастного мальчишку. Потом зло поругался с батюшкой из-за денег. Начал он меня при всех — дело было в воскресенье — «усовещевать» в том, в чем я совсем неповинен. Я чувствую, что он меня ненавидит. Впрочем, он и не скрывает этого. Даже называет не по имени, а «сознательный».

— А-а-а, сознательный, ну как поживаешь? Почитываешь Толстого, а?.. Максимку Горького тоже? Доброе дело, до-о-о-брое дело. Ах ты, горе лукавое! Профессор кислых щей, философ Спиноза!.. Конституция, революция!.. Ка-ак же!.. Взять бы тебя, да — погоди, дождешься еще — разложить в волости, да вмазать штук полтораста! Забыл бы и думать, что есть какой-то Толстой!..

И, сверкнув злыми глазами, он сказал с угрозой:

— Ты у меня помути народ, ты помути! Я терпелив, но всему бывает конец, и мое терпенье лопнет... Ты ведь кто, а? Пойми ты себя, возьми в голову-то свою: червяк ведь ты, пар, ничтожество... Фу-у-у — и больше ничего, неосязаемый предмет... Тебе ли соваться-то, а? Почему ты в храм Божий не ходишь, какой ты пример подаешь своим детям, да и другим тоже, а?.. Где и чему учился? Помни, дружок, что ты у меня всегда на примете, глаз я с тебя не спускаю: чуть что — фи-и-ть и кончено! Попадешь, не оглянешься, к Ледовитому океану... Мне ведь все передано, ты мои действия осуждаешь и критикуешь, нос суешь не в свое дело... Думаешь, не знаю, что ты проповедывал насчет колодца, а? «Молебствие не поможет, напрасно это!» Как так напрасно? Почему напрасно? Это, значит, молиться тебе напрасно? Стало быть, ты не признаешь уже и силу молитвы?.. Это чем пахнет, понимаешь ты?..

Дело было в том, что у нас почти пересох колодец, и в нем откуда-то появилась пропасть лягушек... Лягушек повытаскали, но они появились снова. Бабы перестали черпать воду, считая, что она «поганая». Батя узнал об этом и посоветовал «освятить» колодец. Подняли иконы, пришли к колодцу всем миром, — мужики, бабы, девки, ребятишки, —

настоящий праздник устроили... Батя прочел молитвы, какие полагаются, об уничтожении гада, и освятил колодец. Но лягушки и после этого не пропали...

По этому поводу, как-то вскользь и без всякого намерения, я высказал кому-то из мужиков скептическое, хотя и невинное по существу, замечание. «Добрые люди», передали, как водится, с добавлениями, и поп еще больше возненавидел меня.

— Вот Бог тебя и наказал, — заключил он: — сына вот отнял... Ты это знамение-то понял ли? Или как потвоему, а?

— По-моему, — ответил я угрюмо, — не меня наказал, а только сжалился над младенцем.

— Гм! Философия опять. Толстой!.. Брось, я тебе говорю, все ведь это у тебя чужое, своего ничего нету... Ничего не понимаешь, а туда же судишь обо всем... Работал бы больше, а то с философией-то своей живешь хуже последнего нищего. Жена твоя мне жаловалась: «не знаю, говорит, что и делать: ничего нету, с голоду мрем»... Хорошо? А?

— Да я-то чем же виноват?

— А кто же? У других есть, а у тебя вон какого-нибудь гривенника, и того нету... а главное: заботы иметь добыть его и попросить ты от гордости не можешь... Как, дескать, я, такой-сякой сознательный, кланяться стану... от этого и гибнешь, что смирения в тебе нет, ласки, покорства... волком на всех глядишь... Ну, никто тебе и не поможет... Что? Неправда? Я ведь насквозь тебя вижу: злоба у тебя, зависть, ненависть, бунт, крамола!.. Плохо ты кончишь, попомни мои слова — плохо!

Закопав в землю гробик, я ушел с кладбища, оставив на могиле воющую жену, и, выпросив у кого-то на водку, напился до беспамятства...

Говорят, что я ходил после того по деревне, сквернословил, плакал, проклинал, грозился все кого-то убить и ограбить.

«Убить и ограбить»... Да, значит, и в пьяном виде эта мысль не покидала меня. Хорошо, что никто, по обыкновению, не придает значения пьяным речам...

С этого случая я перестаю пить...

Вот и настоящая осень пришла... Уже половина почти сентября, а погода стоит удивительно хорошая... Дни солнечные, теплые, ясные и тихие. Ночи еще лучше. Когда в избе все замолкнет, уснет, — со смертью маленького стало тише, — я ухожу из своего чулана в огород и сажусь там под старой яблоней на скамейке. Я сижу здесь подолгу. Надо мною темносиняя бездна, усыпанная звездами. Точно кто-то играет ими: они то загорятся, то погаснут, то замигают, то падают... Налево, на востоке, висит, точно фонарь, месяц, окруженный беловатой дымкой, и когда долго не спускаешь с него глаз, кажется, видишь его тихое движение в ночном небе.

Тишина вокруг поразительная. Все — и деревья, и оставшиеся еще на ветках листья, и кусты, и плетень, и пустое поле за огородом, и овины, и избы, — все замерло, притаилось и ждет чего-то...

Тихая грусть вдруг защемит сердце, начнешь перебирать свою жизнь... Что сделал, как было прежде и как стало теперь? Что будет дальше? Какой смысл в моей жизни? Как придет смерть? Какая она будет? Где?

Тяжело станет на душе, обида и жалость к себе и другим... Зачем все так вышло? И почему вышло именно так, когда могло бы быть иначе? Кто виноват в этом?

Часто только под утро я возвращался к себе, в свой постылый чулан, и, вместо синего неба с месяцем и звездами, на меня глядело окаянное убожество, грязь и тоска моей повседневной жизни. Завтра будет то же самое и послезавтра... Неужели так до конца жизни?.. Эта мысль, точно удар кнута, сразу разогнала очарование смутных ночных настроений... И когда они окончательно рассеивались, а

постылые будни еще не успевали захватить целиком мою душу, — в уме резко и отчетливо звучало:

— Нет, так не должно быть... Надо решиться...

«Решиться» порой мне кажется так просто: придти туда — отодвинуть доску под кроватью и вынуть ящик. В этом ящике все, что мне нужно, чтобы сразу стало иначе... Да, но раньше нужно сделать еще что-то... Как я это сделаю? Что буду делать в это время? Что буду думать после?.. Как будут смотреть на меня эти испуганные глаза?.. И порой мне хотелось плакать о себе и молиться.

— Господи, да я ли это думаю?.. Да где же я, прежний, у которого еще не было этих неотвязных мыслей?..

Ходил т у д а под предлогом купить махорки... Кажется, я и сам думал в ту минуту, что иду за махоркой, но мои глаза пытливо и быстро всматривались во всю обстановку, а в уме пробегали соображения о т о м.. .

Приняли меня, как и всегда, ласково. Сам пригласил пить чай.

— Что тебя, сынок, давно не видать? — говорил он, оглядывая меня с ног до головы, — ни слуху, ни духу... Вспоминал я о тебе, что, мол, такое значит? Обиделся, знать, за тогдашнее?.. Ну, как поживаешь? Похудел ты за это время, оброс, почернел... Нездоровится, знать?.. Да?..

— Всего тут есть, — сказал я, не глядя ему в лицо, — плохо живу.

— Сердцем ты горяч, сынок. Да... Надо бы, надо тебе как-нибудь поправляться... Н-да... Конечно, надо... Управился ли с делами-то?..

Я махнул рукой.

— На место бы на какое поступил на зиму-то, а? — сказал он, отыскивая мой взгляд глазами...

Я тоже взглянул ему в глаза и вдруг почувствовал, как будто что-то из моих глаз перебежало в его и из его в мои. Это было мгновение острое и жуткое. Я вздрогнул, а он

отвел глаза и, вздохнув, сказал опять тем же тоном, просящим и жалким, как тогда, в праздник:

— Да, сынок, тяжелые времена пришли... Послушаешь: там убили, там ограбили, там в церковь забрались... Подумай, в церковь! Не то уж нас, — Бога и того ограбить норовят. Что же это будет, сынок? Что будет, а?..

Я молчал и, глядя на его огромную лысину, весь холодея и содрогаясь от какого-то приятного ужаса, думал:

«Да, бывает... Придет кто-нибудь и к тебе... Тогда уж... Вот по этому месту, — топором... лезвием... по самый обух... череп на две половинки... кровь зальет глаза и лицо, и бороду... Не закричит — не успеет... Упадет сразу... Куда?» Мои глаза пытливо измеряли: куда упадет голова, как падает тело...

— На место бы шел, — опять послышался его голос, прерывая молчание...

Сколько времени мы молчали оба? Одну секунду или минуту? Или полчаса?

— Да и то хочу попробовать в Москву сходить, — соврал я.

— А тебе можно ли в Москву-то? — спросил он как-то вкрадчиво... — Я слышал, правда ли, нет ли, люди говорят: нельзя тебе, ишь, в Москву-то...

— Мало ли, что говорят... — ответил я, подумав: — вранье все!

— Та-а-а-к! — протянул он, как будто с облегчением... — Да ведь оно, конечно, можно и так... Мало ли там народу-то? — А когда думаешь?

— Да к Покрову как-нибудь... дровишек вот еще надо навозить, запасти на зиму...

— Та-а-а-к! — опять протянул он, помолчав, и сказал: — Ты тогда толконись ко мне: я тебе письмецо дам к знакомому, на Арбате живет... Лавка своя, торгует... может, он тебя по моей рикиминдации не впихнет ли куды... Пешком пойдешь?

— Да, наверно. На машину денег нет.

— Пешком-то долго. Последние сапожонки растреплешь, пока дойдешь... На машину бы добыл...

Он помолчал и прибавил:

— Не бо знать, кака сумма шесть-то гривен...

— Да где-ж денег-то взять?

Он поглядел на меня опять, что-то обдумывая и как будто не решаясь, и потом сказал:

— Я, пожалуй, дам... так и быть, выручу уж... Жалко мне тебя, ей-Богу, жалко... Человек ты хороший, а пуще того детей твоих жалко... Поступишь на место, все, глядишь, копейку пришлешь... сыты будут. Ко мне и приходи тогда с вечера, — барабаня по привычке пальцами по столу, продолжал он: — побудешь у меня, а часиков эдак с двенадцати аль попоздней — пойдешь себе с Богом... Приходи, приходи! Мы рады посидеть с тобой ночь-то, а то, веришь? — измучились, ведь...

Он заговорил тише и как-то жалобно, опять как тогда, в праздник:

— Время пришло глухое, ночи долгие... Долгие ночи-то! Стукнет где, или мышь заскребет... вот-вот, думаешь, идут уже... всю ночь и не спим, запираемся кругом... Собака была у нас, помнишь, — Жулик-то,.. Пес ее знает с чего издохла в одночасье... Уж не отравил ли кто, думаем, с подвохом с каким-нибудь... Боимся, сынок, ей-Богу!.. Придут — что тогда? Много-ль нам надо, люди мы старые... Страшно!..

Лицо у него стало вдруг сердитое, и он заговорил со злостью:

— Время пришло, прости Господи, окаянное; люди стали какие-то злодеи: ни Бога, ни совести, ни страху, ни трепета... Намедни послушал: мальчишки во какие, от земли не видать, — песни какие поют... Господи-Создателю! Волос дыбом встал: про власть предержащую такое в песне выражают, страсти, истинный Господь! А с кого переняли?.. Известно, не сами выдумали... Дальше-то чего же ждать, а? Дальше-то что ж пойдет?.. Обхватила Россию

зараза, в'елась, вкоренилась, как клопы в деревянной кровати, трудно вывести теперича... И вешают, вот, сколько уж перевешали подлецов, а пользы видится мало: не помогает, так только себя тешат... Я, вот, газету читаю... Дума эта, например, правые там... Знаю: хорошие люди, и речи ихние мне, старому человеку, по душе, а только дивлюсь я, как это они не поймут, что решетом воду черпают?.. Неужели не видят, не смыслят, что речи ихние только потеха одна для нонешнего народу... Смеется над ними народ, злобствует на них... Они думают, народ все такой же, как допрежь был... Как мы, старики: «чего извольте» да «слушаю-с»... Ну, нет, уж теперича не то!.. Страху этого прежнего нету... Смирения нет, покорности нет, злоба одна... Ничего не поделаешь, — вкоренилась, говорю, зараза... в'елась...

— Да ведь сами говорите: вешают, кажется, довольно? — возразил я.

Старик опять весь побагровел и, немного помолчав, сказал:

— Ну и что ж, что вешают... пустое это дело! Что ему, сукину сыну, значит, что его повесят? — Наплевать! Нешто он скорбит об своей жизни... Отчаянный: на все идет, а попался — вешай! — Скоро и хорошо... Это разве наказание? Это в роде как: ответил, мол, мелких нету...

Он замолчал и нервно забарабанил по столу пальцами. Лицо его покрылось красными пятнами, седые брови сердито нахмурились, и из-под них глядели на меня пристально и злобно маленькие, нечистые, будто осочкой прорезанные, китайские глаза.

— Придет, — начал он опять, — какой-нибудь... У которого нет ничего... перебьет, перережет всю семью, детей малых, андельских душек, не пощадит... Оберет, что надо, и уйдет. — Давай после того гулять!.. Возьмут его как-нибудь, может, пьяного... Живо это осудят, веревку на глотку... вздернули... га-а-тово! Подрыгал ногами минут десять и шабаш... тьфу! Да нешто этого он заслужил по

делам-то своим, а? Нет, ты его оставь, да муку ему придумай... На всю жизнь... Да такую, чтобы мучился ежечасно, день и ночь, беспрестанно... Вот ему, что надо. И чтобы другие, которые ему подобные, вострепетали... Вот тогда поймут... Так ли я говорю? Вот то-то и оно-то... а вы им не толкуйте: то-се, пято-десято... н-да!..

Он торопливо, большими глотками, допил простывший чай и, желая видимо переменить разговор, спросил:

— Так, значит, придешь?

— Приду, — ответил я, почему-то вздрагивая и чувствуя, как все захолонуло у меня внутри. — Приду непременно. — Спасибо вам за ласку.

— Не на чем... Приходи, — с вечера приходи... Поступишь там, может, Бог даст, в Москве, тогда сочтемся... Чай, отдашь?

— Спасибо! — еще раз поблагодарил я и, отуманенный, точно пьяный, ушел от него.

Новость в деревне: опилась водкой «до смерти» Аринка Гущина.

Сходил, между прочим, посмотреть. Лежит баба около сарая, с каким-то черным лицом. Пальцы на руках скрючены, голова не покрыта, волосы растрепаны. Один глаз полузакрыт, другой смотрит. Рядом — «вещественное доказательство» — пустая бутылка из-под водки, а другая, цельная, за пазухой. Где баба достала денег на водку, пока еще неизвестно. Выяснилось только, что взяла в казенке «на чистые деньги» две бутылки да полбутылки. Полбутылки выпила там же, на месте, около казенки, а две взяла с собой и, придя в деревню, около своего сарая, выпила, очевидно, уже целую бутылку и ткнулась тут же, где сидела...

Тела не трогают: ждут «начальства», по обыкновению, «караулят». Муж пришел с фабрики, дети — две девочки — смотрят удивленными глазенками, ничего не понимая. Вокруг, с возбужденными лицами толкутся и трещат, как

сороки, обрадованные выходящим из ряда событием бабенки. Мужики или хмурятся, или потихоньку посмеиваются... Муж, высокий, тонконогий, с худым лицом, плохо одетый крестьянин не проявляет никаких признаков горя: он курит папироску, беспрестанно сквозь зубы, противно, по-фабричному, «цыркая» на землю слюной, и, как будто, даже доволен.

А над этой деревенской картиной висит серое, мутное, низкое небо, из которого по временам моросит дождь... Каркая, пролетают мимо вороны, жалобно «вопит», точно плачет, где-то на усадьбе овца, упрямо и монотонно тявкает собака... Кричат петухи, наносит откуда-то едким горьким дымом, за овинами в пустом поле кричит пастух: О-о-ох!.. О-о-ох!..

Тоска... Господи, какая тоска!..

Дома все то же... — или, впрочем, еще гораздо хуже. Снаружи, с улицы, жена «загодя» завалила, по-нашему «запеледила», избу осокой на зиму, для тепла. Закрыла до половины окна, и потому в избе даже среди дня полутемно, как говорится: «днем с огнем». Дети ходят словно пришибленные, жалкие, голодные, с выпяченными животами, разутые... С первого еще сентября начались в школе уроки, а мой старший мальчишка сидит дома: мать не пускает без сапог... «все обуты, а ты разумши, стыдно, учитель осудит»...

К довершению, к ужасу моей жизни, жена сказала правду: она, действительно, «чижолая»... Умершему исполнился бы год...

Подлость! Грязь! Стыд!

На жену просто страшно смотреть: лицо худое, щеки втянулись, желтые пятна, синяки под огромными с блеском глазами... Походка точно у пьяной... «Так меня и швыряет всяё из стороны в сторону», — говорит она, постоянно злая, обтрепанная, в огромных стоптанных опорках на босую ногу.

— Издохнуть бы мне, провалиться... Так нет: и чорт-то меня не берет, кошку живущую... Не разродиться бы, дай-то Господи! Пузо бы у меня лопнуло, у псовки... Что наделала, а?.. На году почитай двое!? Что ж это будет-то... о-о-ой, батюшки! Ой, батюшки! А все ты... все ты, кобель проклятый! — накидывается она на меня... — Уж хоть бы не так досадно, — жили бы по-людски, а то придет время, — рожу, завернуть щенка не во что... Лишнего завалящего лоскутка в дому не найдешь... О-ох, батюшки! О-ох, батюшки!

И так каждый день... Я хорошо понимаю, что и она по-своему права, нельзя так жить... Надо их — в о ч т о б ы т о н и с т а л о н а д о — обуть, одеть и кормить... Но где же я возьму?..

И какой-то злой, знакомый голос ясно шепнул в душе: — Где?.. Не знаешь, где взять?.. И чего только ждешь?.. Пока ты не решаешься и все только раздумываешь, все равно придет другой, решительный и сильный, и возьмет... Сильным — жизнь...

И мне показалось вдруг все так просто: солнце, что ли, перестанет светить, когда исчезнут эти два никому ненужных существа, — противный скупец с прорезанными осочкой глазами и эта баба без человеческой мысли в тупой голове?.. Кому они нужны?.. Взял кто-нибудь из муравейника двух муравьев, выбросил, раздавил... Не все ли равно? Кто заметит?

— Верно! — говорило что-то в душе твердо и определенно... Добро и зло выдумали люди, а в сущности... может быть, зло-то и нужно?.. Может быть, в нем и есть самая суть нашей жизни... Большинство людей привыкает работать правой рукой, но есть и такие, что все делают левой. А результаты те же.

Этот аргумент в ту минуту показался мне совершенно убедительным:

— Да, да, именно так: одни — правой, и говорят: так и надо, это добро. А другие — левой... пьют, едят... и го-

ворят: мы вот и так сыты... ха-ха... Ну, так. Это верно. Теперь другое. Если сделать левой рукой... убить. А те-то, правые, глядишь — поймают. Бывает ведь это и даже довольно часто... Тогда они меня правыми-то своими руками заборят...

И мне представилось с какой-то ощутительной ясностью: это сделано, и все осталось по-старому. Муравейник жизни копошится попрежнему, только нет в нем ни их, тех двух, ни меня... а дети мои останутся... еще несчастнее, чем теперь...

Ну, что ж... Меня «только повесят», — как говорил Наумыч, — не более... А ту-то, неизбежную муку, которой он хотел бы предать грозящих ему неведомых врагов, — ее-то я терплю ежедневно, ежеминутно, беспрестанно... Петля может только избавить от нее... Меня не будет... Не будет... Что это значит? Прежде всего не будет этой тоски, этого стыда, вражды, озлобленной жены, крика голодных детей... Ничего я этого не услышу. Плохо это? Нет, это хорошо... Это — успокоение. Наумыч прав: это не может удержать от того, что может быть сделано «левой рукой»... «Миг один — и нет волшебной сказки», тяжелой, страшной, ненужной сказки... Так чего же бояться... А зато — этот миг могущества... Держать ее, эту жизнь, и свою и чужую, в своих могучих, сильных руках...

Я задрожал от жуткого наслаждения...

Бояться смерти на виселице?.. Как глупо! Ведь смерть всегда со мною и без виселицы... Со мною и спит, и ест, и ходит, и радуется, и плачет, и караулит, и глумится надо мною, выбирая только по своему усмотрению время, когда взять и покончить. Она постоянно играет мной, как кошка мышкой: хочу — сейчас с'ем; хочу — погожу; а все-таки в конце концов ты мой, и ничего от тебя не останется, точно не жил на свете... А вот же нет: я сам буду держать себя в руках, и ты будешь работать не по своей, а по моей воле...

Это было мгновение потрясающей радости... Но вслед за этим пришло другое. Острая жалость к себе вынырнула

откуда-то неожиданно и бурно. Я заплакал... Господи! Почему я — именно я — испытываю все это, почему и откуда вошли в меня эти мысли?.. И заглушают что-то другое, мое собственное, с чем я когда-то был спокоен и счастлив.

Я завтра пойду туда... Да, пойду непременно! Ждать больше я не могу. Зачем я пойду? За этой шкатулкой, что стоит под кроватью? Странно, но я совсем мало думаю о ней и о деньгах... Я думаю только о себе. С мучительным и даже приятным чувством прислушиваюсь я к движениям своей мятущейся души, которой теперь нужны уже не деньги и не то, что можно добыть на них... Нужно сделать... нужно дойти до конца в чем-то, требующем завершения.

В моей горькой жизни оставалось одно: теплился огонек надежды... Теперь он звал меня... Куда?.. К Наумычу...

Как ребенок, проснувшийся однажды и нашедший у себя под подушкой игрушку, которую ему принес ночью рождественский дед, я всякое утро после того радуюсь и шепчу про себя: а у меня есть, а у меня есть, а у меня есть!..

И как я это «сделаю»?.. Сразу, вот, теперь? Нет... вероятно, еще нет... Я пойду туда... пока еще это надо обдумать, надо взвесить и подготовить...

Чем я это сделаю?

Ружье, одностволка?... Вот она висит на стене, давным-давно заряженная крупной дробью... ружьишко дрянное, старое, с надколотой капсулькой, с которой нередко сваливается пистон... Не годится, даст осечку... да и что подумают хозяева, увидев, что я пришел с ружьем?.. Как сразу забегают тревожные, прорезанные осочкой глаза Наумыча. «Зачем, мол, тебе в Москву ружье?» Сказать, что взял только на дорогу, дойти до вас... дело, мол, ночное? Нет, ружье вообще не годится: гул выстрела отдастся ночью по всей деревне... А за выстрелом отчаянные бабьи вопли.

Ведь ее-то не убьешь тем же выстрелом... А ружье одноствольное... Мысль, вернее, воображение работало отчетливо и быстро.

Топор? Есть у меня старый, небольшой! Годится: за пояс, под пиджак; когда понадобится, можно выхватить быстро... взмахнуть и... Мне слышался уже сухой хряст черепа в маленькой комнатке Наумыча. Лампа стоит на столе — светит... окна занавешенные... большие часы на стене хлопают маятником, выговаривая, как живые: так, так! так, так!.. Кровь... Господи, Господи, помоги мне! Где ты, Господи, где ты?! Видишь ли ты, что со мной делается?.. Помогите кто-нибудь... разорвите кто-нибудь мое сердце!..

Где я? Что со мной? Я опять в своей каморке? Все спят, а я сижу за столом. И передо мной моя тетрадь, куда я заносил все эти свои черные, кровавые мысли?

И это уже сделано? Неужели, о неужели?!! Люди, милые мои братья... Я так люблю вас... Можете ли вы простить меня?... Сам я, все равно, себя не прощу. Сейчас брезжит утро... Вечера для меня уже не будет... И пусть эта тетрадь скажет вам, что я сделал и отчего ухожу...

Что, еслибы меня теперь, как хотел Наумыч, насильно оставили жить?.. О нет, нет, это было бы слишком, слишком жестоко...

Как это было? Вот как.

Я ушел из своего чулана, когда в избе стало совсем тихо и все заснули; было часов десять или немного позднее...

За плечами у меня была сумка, набитая сеном, — в руках узелок с краюшкой хлеба... За поясом, под длинным и широким мужичьим пиджаком, болтался топор, который при каждом моем шаге потихоньку ударял топорищем по ноге...

Ночь лунная, тихая, чуткая, с легким морозцем.

Тихо крадучись вдоль забора, спустился я под горку, позади овинов, к ручью, перешел его и пошел лесом, сто-

роной, по тропинке... В лесу было необычайно тихо и торжественно.

Под ногами с треском ломались сухие сучья, шуршали опавшие листья. От деревьев ложились уродливые, странные тени, а луна, окруженная яркими звездами, светила с нежною жалостью... Я слышал на ходу, как в груди колотилось сердце — то часто, то редко, точно испорченные часы. В голове мелькали и кружились странные, совсем ненужные, пустые мысли... А за ними, притаившись... да, именно, именно, притаившись на самом дне души, как змея, лежало то, что я собирался сделать... И я боялся: если эту змею потревожить, она ужалит, и я сойду с ума...

То, что мне нужно было сделать, было страшно... Я понимал, что страшно, но... я не знаю, чем об'яснить это, — я шел без колебаний. Я знал, что я это сделаю... Зачем? Я знал также, что пользы от этого мне не будет, и о деньгах не думал... И знал, что за этим будет огромное, непоправимое страдание... да, да, хорошо знал... я все знал — и все-таки сделал!...

К дому Наумыча я подкрался со стороны поля. Пройдя в тени высокого плетня, завернул за угол и заглянул в окна... Окна были плотно завешены, и огня не было видно.

Кругом все было тихо. Село спало. Избы стояли темные, молчаливые и печально выжидающие. Свет луны освещал дорогу мертвым, фосфорическим светом... Где-то очень далеко тявкала собака и стучали колеса... кто-то ехал...

Я постоял еще, слыша, как в груди колотится испуганное сердце... Потом, как-то сразу, машинально шагнул в полуотворенную сломанную калитку и, подойдя к окну, стукнул в раму... стукнул и испугался... Ответа не последовало.

Весь холодея, я стукнул сильнее, три раза подряд... Отдернулся снизу угол занавески, и я увидел, как Наумыч, приложив лицо к стеклу и загородив щеки ладонями рук, старается разглядеть, кто стучит.

— Кто тут? — послышался сквозь двойные рамы испуганный голос.

— Я! — тоже как-то глухо и испуганно вырвалось у меня.

— А-а-а!... Сейчас!... Обожди! — очевидно, сразу узнав меня и обрадовавшись, крикнул он.

Занавеска опустилась, и свет, вырвавшийся было из окна в отдернутый угол, пропал.

Сразу стало темнее, тихо и жутко.

... Не убежать ли, пока не поздно?

Поздно: Григорий Наумыч уже громыхал засовом, отворяя дверь.

— Ты что ль, сынок?! — крикнул он с крыльца.

— Я...

— А мы со старухой думаем: кто это?... Испугались, — не жулики ли, мол, пришли?... Иди, иди скорее! Вот и хорошо сделал, что пришел, — радостно говорил он, впуская меня и запирая снова запоры и засовы входной двери. — В Москву собрался никак?

Я не ответил и молча, держась позади, прошел за ним из сеней в дом. Здесь, в небольшой кухне— она же и прихожая, — отделенной от горницы «тесовой» переборкой, я снял свою набитую сеном сумку и, положив ее в сторонку, в угол, сказал: «Бельишко тут... рубашки... кое-что»...

Голос мой звучал странно. Сердце похолодело и мучительно ныло, в ногах чувствовалась тяжесть, и я едва передвигал их. Мы вошли в горницу.

Здесь было тихо, светло и уютно. На столе горела небольшая лампа под зеленым стеклянным колпаком. Перед «Божьей благодатью», занимавшей чуть ли не полстены, висели подряд три затепленные лампадки; тихий свет их отражался в золоченых и серебряных ризах, по временам вздрагивая и нервно колыхаясь. Большие, почерневшие от времени, часы, редко, важно, самоуверенно, щелкали маятником: так... так... так... На лежанке около печки лежал, растянувшись во весь рост, откормленный серый кот и круглыми зелеными глазами, подняв и насторожив уши, както подозрительно глядел на меня.

Около этой лежанки, прислонясь к ней спиной, на низенькой скамеечке сидела сама хозяйка и вязала на деревянных «прутках» варежку из черной шерсти...

Я поздоровался с ней. Неохотливая и в обычное время старуха молчаливо кивнула головой.

— Садись, сынок, — сказал Григорий Наумыч, показав мне на стул. — А мы вот со старухой не спим, — продолжал он подождав. — Она вот вяжет, а я читаю ей Евангелье. Время-то у нас и идет. Так, почитай, до самого до свету и сидим, не ложимся... Ночь-то ныне — год: идет, конца нет... Сколько одного керосину прожгешь... Боимся, сынок, боимся... Напал на нас, тебе одному будь сказано, на обоих страх: чудится все, не спится. У страха, видно правда, глаза велики... Чуть где стукнуло, Господи Исусе, не идут ли?... Напуганы до смерти... Да и как не бояться?

Он взглянул на меня и заговорил тише:

— Только и разговору: — там убили, там ограбили... А про меня, знаешь, слава пущена: ишь, много у меня денег... Сво-о-лочи, право, сво-о-лочи! Откуда они у меня, деньги? Какие деньги? На чужбинку-то все больно лакомы, — продолжал он, немного помолчав, и вдруг взглянул мне в лицо. — А ты их наживал?... Попробуй-ка, наживи... их нажить-то нелегко... Накося: придет с ветру, — «давай! руки кверху»... Тьфу, сволочи!...

Он опять замолчал и, закрыв книгу, отодвинул ее в сторону.

— Тебе еще не скоро, — сказал он спокойнее, взглянув на часы. — Эна еще время-то, одиннадцатый в начале! — Чаю напьемся, письмо я приятелю напишу... Успеешь сто раз! Живо добежишь... Только вот что я тебе скажу, сынок: придешь к моему знакомому, смотри, Боже тебя избави, не вздумай выпимши придти, чтоб от тебя водкой не пахло, ни-ни!... Услышит, — беда! Не любит! Первым долгом спросит: «пьешь?» Говори: нет. Смотри, сынок, помни это. Не подгадь...

— Ладно! — сказал я.

— То-то, мол, ладно. Ладно да не играет. Ну, посиди пока, помолчи, а я напишу. А ты, мать, подика-сь, разбундорь самовар, — чайку попьем... покрепче завари: сон разгоняет.

— Ишь ты, точно в светлый праздник заутрени ждешь, — сказала жена, — о Господи, Царь небесный!... Грехи тяжкие!...

Он ничего не ответил. Молча выдвинул в столе ящик, порылся там, достал листик почтовой бумаги, конверт, опять задвинул ящик и, встав с места, прошел к какому-то угольнику, стоявшему на полу под святыми иконами. Из него он достал ручку и пузырек с чернилами.

— Давно не писал, — сказал он, усевшись на свое место. — Какое наше писанье... Да и вижу плохо, — ох-хо-хо! Помирать, видно, пора...

Он надвинул на нос очки, лежавшие на столе, и медленно вынул пробочку из пузырька. Все это он делал, не торопясь, с серьезным видом, обдумывая, очевидно, как писать письмо.

Жена его в это время довязала ряд и положила варежку. Поднялась и, вздыхая и переваливаясь на ходу, как утка, ушла в кухню ставить самовар.

Мы остались одни.

Наумыч начал царапать пером по бумаге, низко и немного на правую руку склонив голову. Я сидел насупротив, через стол, и вся его лысая, с красной шишкой над левою бровью, голова была передо мною.

Было тихо, только часы выговаривали свое обычное: «так-так! так-так!» Потихоньку скрипело перо, да изредка потрескивало что-то в горящих лампадках.

Я почувствовал, как чья-то рука осторожно продвинулась за борт моего пиджака и взялась за топорище... Это была моя рука...

«Уже? — подумал я со страхом. — Неужели теперь? Вот оно... подошло».

— Раз, два! Раз, два! — как-то странно и дико стучало у меня в голове в то время, как холодело сердце: — раз, два! раз, два!

И вот, не отдавая себе отчета, я... — или не я, а кто-то другой, потому что я совсем не хотел сделать это сейчас, в эту именно минуту... — тихо поднялся — также словно не я, — тихо вынул из-под полы топор и, шагнув с места, ударил, размахнувшись изо всех сил, лезвием по склонившейся к столу голове... Голова ткнулась об стол, а под столом застучали по полу судорожно задрыгавшие ноги...

Потом все тело грузно опустилось... грудь уперлась на край стола, а голова немного наклонилась на бок, и я увидал высунувшийся изо рта кончик языка...

Несколько секунд я смотрел на это, и мне хотелось опуститься на пол, подражая движениям этого грузного тела.

Но в это время в кухне, за переборкой, что-то громко стукнуло, — что-то упало. Я вздрогнул, оглянулся и, держа в правой руке окровавленный топор, на цыпочках, быстрыми скачками, точно «балуясь», бросился туда... Старуха стояла около печки и тряпкой вытирала ушедший, облитый кипятком, самовар. Стояла она ко мне спиной и, должно быть, не слыхала моего прихода. Я поднял топор обеими руками...

Следующих мгновений я уже не помню. Сколько времени я стоял над убитой женщиной, — не знаю. Очнулся я как-то вдруг. Все было удивительно тихо. Светила лампа. Часы ровно, спокойно, невозмутимо говорили свое: «так... так... так...» На дворе прокричал петух...

Я насторожился. Петух, — как это всегда бывает, — прокричал еще и еще... Ему, тише, с отдаления, откликнулся другой... Это там, в деревне, недалеко от моего дома...

И сразу я будто очнулся, точно это мгновение легло гранью между всеми этими днями и моей обычной жизнью... Не надо этого, не надо... Вернуться к себе, туда, до той минуты, когда я вышел из дому... Не надо, не надо, не надо...

И вот, я вернудся... Я сижу за своим дневником, но это... то, что я сделал там, у Наумыча, осталось... Там все еще светит лампа, тикают часы... и на полу — в лужах крови... Господи! Как же сделать, чтобы этого не было, чтобы не было...

Впрочем, — средство есть... Оно в моих руках.

Конец, конец!..

Записку? Нет, не надо. — Вместо записки — этот дневник. Из него видно, «что в смерти своей я никого не виню»... И в жизни тоже — виновен я сам, а может быть, и не сам, — не знаю... никто не знает.

Теперь, после всего этого и после крика петуха... я, может быть, сумел бы разобраться в этом вопросе, но — мне некогда... Скоро утро... Днем людской муравейник закопошится особенно оживленно; три муравья из него исчезли...

Взглянуть в последний раз на детей. Я ведь их люблю всех — бледных и худосочных. Только теперь вижу, как я люблю их. Но я не имею уже на это права. Да и некогда.

Прощай, жизнь! Прощай, моя бедная!...
